

Виктор
АСТАФЬЕВ

Последний поклон



Русская классика (Эксмо)

Виктор Астафьев
Последний поклон

«Эксмо»

1958-1992

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Астафьев В. П.

Последний поклон / В. П. Астафьев — «Эксмо»,
1958-1992 — (Русская классика (Эксмо))

ISBN 978-5-04-175485-3

«Последний поклон» В. Астафьева – масштабный цикл автобиографических рассказов и повестей о трудном, голодном, но прекрасном деревенском детстве. Автор описывает жизнь своего народа на протяжении 30–90-х годов XX века. Повествуя о деревенской жизни в трудные 30–40-е, Астафьев передает исповедь этого поколения. В повестях и рассказах – благодарность судьбе за возможность общения с природой, с людьми, умевшими жить «миром», спасая ребятишек от голода, воспитывая в них трудолюбие и правдивость и умение радоваться малому даже в самые горькие дни своей жизни. Начальные главы «Последнего поклона» лиричны, с мягким юмором и легкой иронией, тогда как последующие, направленные против разрушения национальных основ жизни, обличительны и полны горечи.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-175485-3

© Астафьев В. П., 1958-1992
© Эксмо, 1958-1992

Содержание

Книга первая	7
Далекая и близкая сказка	7
Зорькина песня	16
Деревья растут для всех	18
Гуси в полынье	21
Запах сена	25
Конь с розовой гривой	34
Монах в новых штанах	45
Ангел-хранитель	65
Мальчик в белой рубаше	76
Осенние грусти и радости	79
Фотография, на которой меня нет	87
Бабушкин праздник	99
Книга вторая	120
Гори, гори ясно	120
Конец ознакомительного фрагмента.	131

Виктор Астафьев

Последний поклон

*Пой, скворушка.
Гори, моя лучина.
Свети, звезда, над путником в степи.*

Ал. Домнин

© Астафьев В. П., наследница, 2010

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010



Виктор
АСТАФЬЕВ

(1924 - 2001)

Книга первая

Далекая и близкая сказка

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось «мангазина», к которой примыкала также завозня, – сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это «общественным фондом». Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди будут жить, потому что, покуда есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он крестьянин, хозяин, а не нищеврод.

Поодаль от завозни – караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, зимой – тихим парком из-под снега и куржаком по напользавшим с увалов кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчало трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от времени года и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

У завозни же ребятишки толкались с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками – битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду – крутил по очереди с ребятишками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку – скрипку...

На скрипке редко, очень, правда, редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, в морхлом месте, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ. И чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нос. Бабушка посадила Васю пить чай, принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугушке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не вприкуску и не из блюдца, прямо из стакана пил, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой – черемуховую палку.

– Господи, Господи! – вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. – Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером я слышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь. В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью, не то что весной, как-то плохо играется. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее скоротечно наплыла темнота. Зарю притворило, будто светящееся окно ставнями. До утра.

Сделалось тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрывалась в тени горы, сливалась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, вымытом ключом. Из-за тени начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни, мух там и ночных бабочек ловить, не иначе.

Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, застучали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, но я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня парализующего страха. На селе засветились окна. К Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небо, рядом с той звездой, что все еще одиноко светила над Караульной речкой, кто-то зашвырнул огрызок луны, и она, словно обкусанная половина яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, зябко стекленела, и от нее стекленело все вокруг. Он завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За Фокинской речкой – рукой подать – забелели кресты на кладбище, скрипнуло что-то в завозне – холод пополз под рубаху, по спине, под кожу. к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки.

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, кругом жуть такая, и еще музыка – скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозит она вовсе. Жалуется. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никогда один-то, вот и...

Музыка льется тише, прозрачней, слышу я, и у меня отпускает сердце. И не музыка это, а ключ течет из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьет, пьет и не может напиться – так иссохло у него во рту и внутри.

Видится почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: «Какая деревня-а-а?» – Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут медленно, дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая.

Музыка эта рассказывает о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, что навсегда буду глухим, вроде Алешки, двоюродного моего брата, и как являлась ко мне в лихорадочном сне мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Я кричал и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела привернутая лампа, бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету.

Еще пот девочку помню, беленькую, смешливую, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли лечить.

И опять обоз возник.

Все он идет куда-то, идет, скрывается в студеньих торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забила живая жилка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоем завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем – ничем не остановить страшную такую бурю!

«Да что же это такое?! Где-же люди-то? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек, снова чего-то жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в дали дальние.

Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездой на месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, обьятая отгорающими черемухами и тихой струной скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему жалко самого себя? И тех вон жалко, что спят непробудным сном на кладбище. Среди них под бугром лежит моя мама, рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили до меня, жили мало, – и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где высоко бьется в окно нарядной траурницей чье-то сердце.

Музыка кончилась неожиданно, точно кто-то опустил властную руку на плечо скрипача: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. Но уже, помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье...

Долго сидел я в уголке завозни, слизывая крупные слезы, катившиеся на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым. Скрипки не было слышно, свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» – подумал я и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои пязнули в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студеные листья хмеля, над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцающая

топилась в избушке прогоревшая железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата и правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку. После того как Вася пил у нас чай, в особенности после музыки, не так страшно было сюда заходить.

Я сел на порог, не отрываясь глядел на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

– Сыграйте, дяденька, еще.

– Что тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь есть, кто-то пришел.

– Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны.

– Подбрось дров в печку.

Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. В печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло немалое время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же время совсем другая. Мягче, добрее, тревога и боль только угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в печке, но, может, там, за избушкой, на увале засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника – невидимкой станешь, можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Коцея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать.

Разгорелись дрова подсеченной сухостоины – сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры.

Тень музыканта, сломанная у поясицы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной, будто отражение в воде, потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант, живой Вася-поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней, удобней и слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать.

Когда притухала печка, я радовался, что не мог видеть Васиного лица, бледной ключицы, выступившей из-под рубахи, и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, глаз, плотно, до боли затиснутых в черные ямки глазниц. Должно быть, глаза Васи боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки.

В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий, мечущийся или плавно скользящий смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что вздрогнул, когда Вася заговорил.

– Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. – Вася думал вслух, не переставая играть. – Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, – он еще не сирота. – Какое-то время Вася думал про себя. Я ждал. – Все проходит: любовь, сожаление

о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине...

Скрипка снова тронула те самые струны, что накалились при давешней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались.

– Эту музыку написал мой земляк Огинский в корчме – так называется у нас заезжий дом, – продолжал Вася. – Написал на границе, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор.

Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Голос ее становился тише. тише, он растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой. Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась.

Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудью, рукой, оттого что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла. Слосясь, засыпали в ней угли. Васи не видно. Скрипки не слышно.

Тишь. Темень. Грусть.

– Уже поздно, – сказал Вася из темноты. – Иди домой. Бабушка будет беспокоиться.

Я привстал с порога и, если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в иголках и как будто вовсе не мои.

– Спасибо вам, дяденька, – прошептал я.

Вася шевельнулся в углу и рассмеялся смущенно или спросил «За что?».

– Я не знаю, за что...

И выскочил из избушки. Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок – ничего, ничего дурного в нем не умещалось.

Доверяясь доброте, разлитой слабым небесным светом по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище, постоял на могиле матери.

– Мама, это я. Я забыл тебя, и ты мне больше не снишься.

Опустившись на землю, я припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо на земле и в земле. Маленькая рябина, посаженная мной и бабушкой, нагоняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити с желтым листом до самой земли. На вершинах берез листа уже не было, и голые прутья исполосовали огрызок луны, висевший теперь над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве. Стояло полное безветрие. Потом с увалов ощутимо потянуло знобким холодком. Гуще потекли с берез листья. Роса стекленела на траве. Ноги мои застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалось знобко, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею.

Мне отчего-то не хотелось домой.

Не знаю, сколько я просидел на крутом яру по-над Енисеем. Он шумел у займища, на каменных бычках. Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в узлы, грузно переваливалась возле берегов и кругами, воронками откатывалась к стрежню. Непокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собой и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон.

Но эта ее неспокойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали меня. Оттого, наверно, что была осень, луна над головой, скалистая от росы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, скорее на какие-то расчудесные растения; и еще оттого, наверно, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилака еловых вершин над дальним пере-

валом, молчаливое село за моей спиной, кузничик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде бы один он во всем мире, трава, как бы отлитая из металла, – это и была моя родина, близкая и тревожная.

Глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей что-то свершилось, и не стала меня бранить.

– Ты где так долго? – только и спросила она. – Ужин на столе, ешь и ложись.

– Баба, я слышал скрипку.

– А-а, – отозвалась бабушка, – Вася-поляк чужое, батюшко, играет, непонятное. От его музыки бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют...

– А кто он?

– Вася-то? Да кто? – зевнула бабушка. – Человек. Спал бы ты. Мне рано к корове подыматься. – Но она знала, что я все равно не отстану: – Иди ко мне, лезь под одеяло.

Я прижался к бабушке.

– Студеный-то какой! И ноги мокрушие! Опять болеть будут. – Бабушка подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. – Вася – человек без роду-племени. Отец и мать у него были из далекой державы – Польши. Люди там говорят не по-нашему, молятся не как мы. Царь у них королем называется. Землю польскую захватил русский царь, чего-то они с королем не поделили... Ты спишь?

– Не-е.

– Спал бы. Мне ведь вставать с петухами. – Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя, и их к нам, в Сибирь, сослали. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе, под тулупом конвоира. И зовут его вовсе не Вася, а Стася – Станислав по-ихнему. Это уж наши, деревенские, переименовали. – Ты спишь? – снова спросила бабушка.

– Не-е.

– А, чтоб тебе! Ну, умерли Васины родители. Помаялись, помаялись на чужой стороне и померли. Сперва мать, потом отец. Видел большой такой черный крест и могилу с цветками? Ихняя могила. Вася бережет ее, ухаживает пуще, чем за собой. А сам-то состарился уж, когда – не заметили. О Господи, прости, и мы не молоды! Так вот и прожил Вася около мангазины, в сторожах. На войну не брали. У него еще у мокренского младенца нога ознобилась на подводе... Так вот и живет... помирать скоро... И мы тоже...

Бабушка говорила все тише, невнятной и отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее. Лежал, думал, пытаюсь постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего из этой затеи не получалось.

Несколько лет спустя после той памятной ночи мангазину перестали использовать, потому что построен был в городе элеватор, и в мангазинах исчезла надобность. Вася остался не у дел. Да и ослеп он к той поре окончательно и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, но потом и ходить не смог, тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину избушку.

Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить сатиновую рубашу, штаны без прорехи, наволочку с завязками и простыню без шва посередине – так шьют для покойников.

Заходили люди, сдержанными голосами разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз-другой «Вася», и я помчался к караулке.

Дверь ее была распахнута. Подле избушки толпился народ. Люди заходили в нее без шапок и выходили оттуда вздыхая, с кроткими, опечаленными лицами.

Васю вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось

несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зраком на заброшенную, с упавшими воротами, сорванными с крыши тесинами мангазину и осуждающе трясла головою.

Я зашел в караулку. Железная печка с середины была убрана. В потолке холодела дыра, по свесившимся корням травы и хмеля в нее падали капли. На полу разбросаны стружки. Старая нехитрая постель была закатана в изголовье нар. Валялись под нарами сторожевая колушка, метла, топор, лопата. На окошке, за столешницей, виднелась глиняная миска, деревянная кружка с отломленной ручкой, ложка, гребень и отчего-то не замеченный мною сразу шкалик с водой. В нем ветка черемухи с набухшими и уже лопнувшими почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки.

«А где скрипка-то?» – вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сунул очки в карман, снял скрипку со стены и бросился догонять похоронную процессию.

Мужики с домовиной и старухи, бредущие кучкой следом за нею, перешли по бревнам Фокинскую речку, захмелевшую от весеннего половодья, поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком очнувшейся травы.

Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку, смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Затем сделала шаг шире и зашептала с темнолицей старухой:

– Расходы... накладно... сельсовет-то не больно...

Я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные расходы, уцепился за бабушкин рукав и, когда мы отстали, мрачно спросил:

– Скрипка чья?

– Васина, батюшко, Васина, – бабушка отвела от меня глаза и уставилась в спину темнолицей старухи. – В домовину-то... Сам!.. – наклонилась ко мне и быстро шепнула бабушка, прибавляя шаг.

Перед тем, как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперед и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок, на скрипку бросил несколько живых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста-перекидыша.

Никто ничего не посмел мне сказать, только старуха богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же, воздев глаза к небу, закрестилась: «Помилуй, Господи, душу усопшего Станислава и родителей его, прости их согрешения вольным и невольным...»

Я следил, как заколачивали гроб – крепко ли? Первый бросил горсть земли в могилу Васи, будто ближний его родственник, а после того, как люди разобрали свои лопаты, полотно и разбрелись по тропинкам кладбища, чтобы омочить скопившимися слезами могилы родных, долго сидел возле Васиной могилы, разминая пальцами комочки земли, чего-то ждал. И знал, что уж ничего не дожидаться, но все равно подняться и уйти не было сил и желания.

За одно лето сопрела пустая Васина караулка. Обвалился потолок, приплюснул, вдавил избушку в гущу жалицы, хмеля и чернобыльника. Из бурьяна долго торчали сгнившие бревешки, но и они постепенно покрылись дурманом; ниточка ключа пробилла себе новое русло и потекла по тому месту, где стояла избушка. Но и ключ скоро начал хиреть, а в засушливое лето тридцать третьего года вовсе иссох. И сразу начали вянуть черемухи, выродился хмель, унялась и разнотравная дурнина.

Ушел человек, и жизнь в этом месте остановилась. Но деревня-то жила, подрастали ребята, на смену тем, кто уходил с земли. Пока Вася-поляк был жив, односельчане относились к нему по-разному: иные не замечали его, как лишнего человека, иные даже и поддразнивали, пугали им ребяташек, иные жалели убогого человека. Но вот помер Вася-поляк, и селу стало чего-то не хватать. Непонятная виноватость одолела людей, и не было уж такого дома, такой

семьи в селе, где бы не помянули его добрым словом в родительский день и в другие тихие праздники, и оказалось, что в незаметной жизни был Вася-поляк вроде праведника и помогал людям смиренностью, почтительностью быть лучше, добрей друг к другу.

В войну какой-то лиходеи начал воровать с деревенского кладбища кресты на дрова, первым унес он грубо тесанный листовичный крест с могилы Васи-поляка. И могила его утерялась, но не исчезла о нем память. По сей день женщины нашего села нет-нет да и вспомнят его с печальным долгим вздохом, и чувствуется, что вспоминать им его и благостно, и горько.

Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом, разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных городов России. И пахло в нем так же: гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел, опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, дробился на усталые кострища. Но раздавался долгий, глухой взрыв, купол подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым багровым светом. Листья с деревьев срывало, кружило жаром вверх, и там они истлевали.

На горящие развалины то и дело обрушивался артиллерийский или минометный налет, нудили в высоте самолеты, неровно вычерчивали линию фронта немецкие ракеты за городом, искрами осыпаясь из темноты и бушующий огненный котел, где корчилось в последних судорогах человеческое прибежище.

Мне чудилось – я один в этом догорающем городе и ничего живого не осталось на земле. Это ощущение постоянно бывает в ночи, но особенно гнетуще оно при виде разора и смерти. Но я-то узнал, что совсем неподалеку – только перескочить через зеленую изгородь, обжаленную огнем, – в пустой избе спят наши расчеты, и это немного меня успокаивало.

Днем мы заняли город, а к вечеру откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они плакали у развалин, вытаскивали что-то из пожарищ. Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями. И только пожары укрыть не смогла.

Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалился угол, обнажив стены с нарисованными на них сухощежими святыми и мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами. До потемок глядели эти святые и мадонны на меня. Неловко мне было за себя, за людей, под укоряющими взглядами святых, и ночью нет-нет да выхватывало отблесками пожаров лики с поврежденными головами на длинных шеях.

Я сидел на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то, после того как я послушал скрипку, мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. Глупый был. Малый был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть». И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне, и то, что пугало в детстве, было вовсе и не страшно, жизнь припасла для нас такие ужасы, такие страхи...

Да-а, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слез, нет детского восторга и жалости чистой, детской жалости. Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома, обнажая то святых на стене, то кровать, то качалку, то рояль, то тряпки бедняка, убогое жилище нищего, скрытые от глаз людских – бедность и святость, – все-все обнажилось, со всего сорваны одежды, все подвергнуто унижению, все вывернуто грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая музыка повернулась иной ко мне стороною, звучала древним боевым кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они в свой дом, под крышу, к

близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем.

Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепенелыми развалинами, та самая музыка, какую, словно вздох родной земли, хранил в сердце человек, который никогда не видел своей родины, но всю жизнь тосковал о ней.

Зорькина песня

Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на ближний увал по землянику. Огород наш упирался дальним пряслон в увал. Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосен, одна черемушка катнула под городьбу ягоду, и та взошла прутиком, разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Черемушку не срубали, и на ней птички вили гнезда.

Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не выгонял неповоротливых коров за поскотину, на приречный луг.

А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава, никли долу цветы куриной слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках.

Енисей тоже был в тумане, скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в поднебесье и словно плыли встреч течению реки.

Неслышная днем, вдруг обнаружила себя Фокинская речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотать, плескаться и картаво наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась, измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом, речка: из нее брали воду на поливку гряд, в баню, на питье, на варево и парево, бродили по ней, валили в нее всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь.

Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой, довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но говор ее внезапно оборвался – прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и, как слишком уж расшумевшееся дитя, пристыженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась речка в крутые, седоватые валы Енисея, и голос ее сливался с тысячами других речных голосов, и, капля по капле накопив силу, грозно гремела река на порогах, пробивая путь к студеному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку деревенской незатейливой речки на многие тысячи верст, и как бы живою жилой деревня наша всегда была соединена с огромной землей.

Кто-то собирался плыть в город и сколачивал салик на Енисее. Звук топора возникал на берегу, проносился поверх, минуя спящее село, ударялся о каменные обрывы увалов и, повторившись под ними, рассыпался многоэхо по распадкам.

Сначала бабушка, а за нею я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, но летом утихомирился, и бурный его пугь обозначился до блеска промытым камешником.

В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть, провалиться в эту волокнисто-белую тишину. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки.

Местами мы пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку, по кустам переплетались камнеломки, повилика, дедушкины кудри. Мы запугивались в нитках цветов, и тогда из белых чашечек выливались мне за воротник и на голову студенья капли.

Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ, бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка и с улыбкой подбадривала, уверяя, что от росы да от дождя люди растут большие-пребольшие.

Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделею затянуло село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной, шум не пропускающей мягкотью. Даже на изгибах Фокинской речки появились белые зачесы, видно сделалось, какая она вилючая.

Но светом и теплом все шире разливающегося утра тоныше и тоныше раскатывало туманы, скручивало их валами в распадах, загоняло в потайную дрему тайги.

Топор на Енисее перестал стучать. И тут же залилась, гнусаво запела на улицах березовая пастушья дуда, откликнулись ей со двора коровы, брякнули боталами, сделался слышен скрип ворот. Коровы брели по улицам села, за поскотину, то появляясь в разрывах тумана, то исчезая в нем. Тень Енисея раз-другой обнаружила себя.

Тихо умирали над рекой туманы.

А в распадах и в тайге они будут стоять до высокого солнца, которое хотя еще и не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки, ночами насылающие холод и эти вот густые туманы, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, но с первыми звуками, с пробуждением людей убирались в лога, ущелья, провалы речек, обращались студеными каплями и питали собой листья, травы, птах, зверушек и все живое, цветущее на земле.

Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и, плывя вверх, брели по нему, будто по мягкой, податливой воде, медленно и бесшумно. Вот туман по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов полоснуло ярким светом, празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят, в каждой травинке и былинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: «Тить-тить-ти-ти-рри...».

– Что это, баба?

– Это Зорькина песня.

– Как?

– Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает.

И правда, на голос зорьки – зорянки, ответило сразу несколько голосов – и пошло, и пошло! С неба, с сосен, с берез – отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и один звонче другого, и все-таки Зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась яснее других. Зорька улавливала какие-то мгновения, отыскивала почти незаметные щели и вставляла туда свою сыпкую, нехитрую, но такую свежую, каждое утро обновляющуюся песню.

– Зорька поет! Зорька поет! – закричал и запрыгал я.

– Зорька поет, значит, утро идет! – пропела благостным голосом бабушка, и мы поспешили навстречу утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса; нам низко кланялись, обомлевшие от росы и притихшие от песен, сосенки, ели, рябины, березы и боярки.

В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чугь шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в туюсок. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многоголосо славили утро, солнце, и Зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала, звучала...

Да и по сей день неумолчно звучит.

Деревья растут для всех

Во время половодья я заболел малярией, или, как ее по Сибири называют, веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорбей и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня начало рвать, из города порошки привозили – не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх по Фокинской речке, до сухой росохи, нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться, а я три раза повторил заученный от нее наговор: «Осина, осина, возьми мою дрожалку – трясину, дай мне леготу», – и перевязал осину своим пояском. Все было напрасно, болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бесшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит, подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня не отпускало и ночью, а прежде накатывало по утрам до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая «выходила на воду».

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошенье.

На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышинные норки да грибы поганки с тонкими шейками. А потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопля и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. Я «косил» на меже огорода траву мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.

Так в уединении и деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков и все смотрел-смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка мухоловка. Она деловито ошипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по конопляне, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было, но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой пленкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробиравло ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом: – шипица – дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельски, когти дьявольски – попробуй сунься, кошка!

В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» – маячила мне бабушка.

«Не скажу! Секрет!» – маячил я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на спой саженец. Мне он начинал казаться большой остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголочками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места! Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев – усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

– Баб, я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

– Так вот ты где скрываешься! – сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. – Ма-атушка. – Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: – Осенью посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болезнь моя шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего – дяди Левонтия.

Осенью бабушка вернулась из леса с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью – бабушка любила повторять, что кто ест луг, того Бог избавит от вечных мук, и таскала того «лугу» домой много. Из-под травы и корней сочной рыбьей икрой краснели рыжики и на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть: маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел!

Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники – лесной гостинец, и даже багровый листик с крепеньким стерженьком – ер-егорка пал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом – ярусом висит, будто зипун с красным гарусом – розетка рябины. В корзине, как у дядюшки Якова – товару всякого, и про всякое растение есть присказка иль загадка, складная, ладная.

В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Выснулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает и побежит.

Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок.

– Ну вот, – сказала бабушка, – глядишь, возьмется лиственка, правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца.

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

– Баб, а оно большое вырастет?

– Кто?

– Да дерево-то мое?

– А-а, дерево-то? А как же?! Непременно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батюшко, растут для всех, всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит.

– И всем птичкам?

– И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал, И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом тихо спало маленькое деревце, и ему тоже снилась весна.

Гуси в полынье

Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В уловах и заводях они широкие, на быстрине – узкие, в трещинах. Но после каждого морозного утра они все шире, шире, затем намерзает и плывет шуга. И тогда пустынно шуршит река, грустно, утихомирено засыпая на ходу.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Теснятся там льдины, с хрустом лезут одна на другую, крепнет шуга, спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река останавливается, и там, где река сердито громоздила по стрежи льдины, остается нагромождение торосов, острые льдины торчат так и сяк, и кривая, взъерошенная полоса кажется непокорно вздыбленной шерстью на загривке реки.

Но вот закружилась поземка, потащило ветром снег по реке, зазвенели льдины, сдерживая порывы ветра; за них набросало снегу, окрепли спайки. Скоро наступит пора прорубать зимник – выйдут мужики с пешнями, топорами, вывезут вершинник и ветки, и там, где взъерошилась река, пробьют в торосах щель, пометят дорогу вехами, и вот уж самый нетерпеливый гуляка или заботами гонимый хозяин погонит робко ступающего меж сталисто сверкающих льдин конишку, сани бросает на не обрезанных еще морозами глыбах, на не умягченной снегами полознице.

Но как бы ни была круга осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом и везде усмирить Енисей.

На шиверах, порогах и под быками остаются полыньи. Самая большая полынья – у Караульного быка.

Здесь все бурлит, клокочет, шуга громоздится, льдины крошатся, ломаются, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не желает Караульный бык вмерзать в реку. Уже вся река застыла, смирилась природа с зимою, а он стоит в полтой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, неторопливый обоз – но у быка все еще колыхается пар и чернеет вода.

От пара куржавеют каменистые выступы быка, кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстым куржаком, и среди темных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми, до рези в глазах белыми узорами, кажется сказочным чудом.

Однажды после ледостава облетела село весть, будто возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть, домашние.

И в самом деле, вечером, когда я катался с ребятами на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наяривал на пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи. Полынья с каждым часом становилась меньше и меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй.

На следующий день оравой мы перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась с лесную кулижку величиной. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала, подплывала к хрупкому припаю, врзалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун.

Мне и прежде доводилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались беспечны так, что и ночевать оставались на реке. Кон-

чалось это тем, что ночью их, сонных, оттирало от берега настывшим закрайком, подхватывало шугой, выталкивало на течение, к утру они уже оказывались невесть где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и мучительно погибали на морозе.

А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, будто белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко, властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне!»

Внезапно одного голошеего гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило, и когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно о помощи. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло ко льду, свалило на бок, и, мелькнув беленькой бумажкой под припаем, словно под стеклом, он исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что корбило спины.

– Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их, – сказал мой двоюродный брат Кеша.

– А как?

Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя, к полынье подобраться невозможно. Обломится припай – мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, будто того гуся – ищи-свищи.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали – подбираться к полынье ползком. Другие – держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то из левонтьевских парней советовал просто подождать – гуси сами выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.

Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым промыслом – выжигали известку из камня. Камень добывали на речке Караулке, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался поселок и поныне называющийся известковым, хотя известку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавливались и плоты, которые потом распиливались на длинные поленья – бадюги. Какой-то залетный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался «на известке», какие-то уполномоченные грамотеи «опра», «торгхоза», «местпрома», «сельупра», «главнедра» грозились всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешевой известкой, жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели-таки частника, с рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылило шибко. До недавних считай что дней властвовала торговая точка на красноярском базаре, сбита из теса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продается – продает частник-шкуродер, тут предприятие – вот им-то, предприятием, не продается, а отпускается продукция Овсянского из-го 3-да. Со временем, правда, вывеску так запожило белым, что никакие слова не угадывались, но торговая точка всей нашей округе была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, наши односельчане весь отсчет вели от своего торгового заведения, для них в городе домов и магазинов главнее не было. «А как пойдешь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу...», «От нашего ларька в гору подымесся, тут тебе и почта, и нивермаг, и тиятр недалеко...»

Возле большого штабеля бревен, гулко охая, бил деревянной колотушкой Мишка Коршуков, забивая сухой березовый клин в распиленный сутунок, чтобы расколоть его на поленья – бадюги. Вообще-то он был, конечно. Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали на селе – Мишка и Мишка. Он нарядно и даже модно одевался, пил вино не пьянея, играл на любой гармошке, даже с хроматическим строем, слух шел – шибко портил девок. Как можно испортить живого человека – я узнал не сразу, думал, что Мишка их заколдовывает и они помешанные делают, что, в общем-то, оказалось недалеко от истины – однажды этот

самый Мишка на спор перешел Енисей во время ледохода, и с тех пор на него махнули рукой – отчаянная головушка!

– Что за шум, а драки нету? – спросил Мишка, опуская деревянную колотушку. В его черных глазах искрились удаль и смех, на носу и на груди блестел пот, весь он был в пленках бересты, кучерявая цыганская башка сделалась седой от пленок, опилок и щепы.

Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка снял шапку, потряс чубом, выбивая из него древесные отходы, вынул папироску, постучал ею в ноготь – после получки дня три-четыре Мишка курил только дорогие папиросы, угощая ими всех без разбору, все остальное время стрелял курево – прижег папироску, выпустил клуб дыма, проводил его взглядом и заявил:

– Погибнут гуси. Надо им, братва, помочь.

Нам сразу стало легче. Мишка сообразит! Докурив папироску, Мишка скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.

– Всем взять по длинной доске!

– Ну, конечно же, конечно! – ликовали парнишки. – Как это мы не догадались?

И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припою. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.

Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску – он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую, мы кладем ее и снова ползком вперед.

– Стоп! – скомандовал Мишка. – Теперь надо одному. Кто тут полегче? – Он обмерил всех парней взглядом, и его глаза остановились на мне, вытравленном лихорадкой. – Сымай шубенку! – я покорно расстегивал пуговицы, мне хотелось закричать, убежать, потому что уж очень страшно ползти дальше. Мишка ждал, стоя на тесине, по которой я уже прополз, и наготове держал другую, длинную, белую, гибкую. Я опустил на нее животом и сквозь рубаху почувствовал, какая она горячая, а под горячим-то трещит лед, а подо льдом: «Господи! Миленький! Спаси и помилуй люди Твоя... – пытался я вспомнить бабушкину молитву... – Даруя... сохраняя крестом Твоим... Даруя... сохраняя... достояние...» – заклинал и молил я.

– Гусаньки, гусаньки! – звал я, глядя на сбившихся в кучу гусей. Они отплыли к противоположному от меня закрайку полыньи, встревоженно погагакивая. – Гусаньки, гусаньки... – не в силах двинуться дальше – лед с тонким перезвоном оседал подо мной, под доской, беленькие молнии металась по нему, пронзая уши, лопнувшей струной.

– Гусаньки, гусаньки! – плакал я.

Гуси сбились в плотный табунок, вытянув шеи, глядели на меня. Вдруг что-то зашуршало возле моего бока, я обер и, подумав, что обломился лед, уцепился за доску и собрался уже заорать, как услышал:

– Держи! Держи! – Мишка приблизился, доску мне сует.

Доска доползла до воды, чуть прогнула закраек, раскрошила его. Кончиками онемевших пальцев я держал тесину, звал, умолял, слизывая слезы с губ:

– Гусаньки, гусаньки... Господи... достояние Твое есмь... Мать-гусыня поглядела на меня, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, огненные лапы.

– Ну, вылезай, вылезай! – закричали ребятишки.

– Ша! Мелочь! – гаркнул Мишка.

Гусыня, испуганная криками, отпрянула, а гусята метнулись за нею. Но скоро мать успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляв от края, она приказала: «Делать так же!»

– Ах ты, умница! Ах, ты умница!

Гуси стремительно разгонялись, выпрыгивали на тесину и ковыляли по ней. Я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи.

– Гусаньки, гусаньки!

Уже на крепком льду я схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в ее тугое, холодное перо.

Ребята согнали гусей в табунок, подхватили кто которого и помчались в деревню.

– Не забудьте покорми-ыть! – кричал вслед нам Мишка. – Да в тепло их, в тепло, намерзлись, шипуны полоротые.

Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь. махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не решилась и говорила, что этому разбойнику Мишке Коршукову задаст баню.

Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню. И выорала свое. Ее отнесли в дом дяди, куда собрали к ней всех гусят. Тогда гусыня-мать успокоилась и поела. Левонтьевские орлы как ни стерегли гусей – вывелись они. Одних собаки потравили, других сами левонтьевские приели в голодуху. С верховьев птицу больше не приносит – выше села ныне стоит плотина самой могучей, самой передовой, самой показательной, самой... в общем, самой-самой... гидростанции.

Запах сена

По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел – глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно – еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников.

Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора.

Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было много детей и всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек – он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один – бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох – старухи объяснить не могли.

Алешку все жалеют, я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает затрещину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того «Богом обижен», а мне-то наплевать! Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.

Коней этих, Лысуху и Гнедого, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот, Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу – шалишь, кобыла, не тут-то было!

Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливается – весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитом, заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать, Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади.

Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке – что живой островок, к ней охотно и весело трусят кони.

Прорубь по-за огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами – темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет в эту воду, бездонную, холодную?.. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто...

Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за оброти, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит вразнотырку.

Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться.

Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади. Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброти, потом уже гарцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно, иные парнишки бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулочек въехали, но я кричу что есть мочи:

– Деда, открывай ворота!

Алешка тоже что-то блажит.

Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись – иначе сшибет надбровником ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнедко останавливается, за ним Лысуха, и сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся.

Дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: «Да не черти ли на вас молотили?!»

В конюшне раздается визг, стук – это Лысуха устраивается, лягает нашего смирного коня с грозным именем Ястреб.

– Я те, волчица ободранная! – кричит Кольча-младший. и Лысуха умирится.

Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бросает в одни сани вилы деревянные и железные, грабли, Привязывает бастрыги, а в передок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул, будто сахар, и оставил на нем лафтак языка.

Все. Надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же, мы уж следом все повторяем.

Ужинают сегодня рано и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь.

– Не забудешь, дедушка? – в который раз напоминаю я.

– Не-е, – гудит он снизу.

Дед самый надежный в этом доме человек. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять по сено, значит, возьмет. Тихо в доме. Слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую ночами донимают «худые немочи». В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший рано ложиться, потому что по вечерам бежит на пару с Мишкой Коршуковым и домой является с петухами.

– Баб!

Бабушка не откликается, но я-то чую, что она не спит.

– Баб!

– Ну какого тебе дьявола?

– Ты катанки сушить положила в печку?

- Положила, положила, спи!
- И Алешкины тоже?
- И Алешкины. Спи!

Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, точно в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочут ноги. Я запихал их обе в голенище чьего-то валенка, задираю его, бухаю в стену.

- Баб!
- Никакого отпета.
- Ба-аб!
- Я вот встану, я вот подымуся!
- А ты варежки зашила?
- Утресь зашью. Спите!

Алешка не дышит, вникает в разговор, и хоть ничего услышать не может, все же догадывается, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко – благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает, жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, руки его разнялись, ослабели. Уснул Алешка. Намаялся, набегался и уснул. Я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было, удобнее, и бабушка снова приглушенным шепотом грозит:

- Ты будешь спать, окаянный?

Я затихаю, думаю о Лысухе, о которой бабушка плохого мнения. Будто продал ее дяде Ване человек из верховского, Курганского, селения с худым глазом, продавая, выдрал из Лысухи клочок шерсти, бросил ее за печь, она там сохнет, а кобыла мается, корм ей не корм – и пока ту шерсть не найдешь – не вестись на дворе скотине, и ведь велела, велела она вывести коня через задний двор – от сглаза – да посмотреть потихоньку, куда шерсть хозяин: схоронил – так зубоскалили только, просмеивали мать. И что получилось?

Передо мной появляется человек, на Кощея Бессмертного похожий, ведет он на поводу хромую лошадь и сам хромает, а впереди дорога меж торосов виляет, елки, пихты, вересинки коридорчиком стоят, кони трусят, пофыркивают – это мы уже едем по сено, и сани скрипят мерзлыми завертками, полозья повизгивают, а Кольча-младший напевает себе под нос что-то. И все бежит, бежит зимник по Енисею, потом по лесу с горы на гору, с горы на гору.

По сено у нас ездят далеко. Покосов возле села нет. Наше село среди увалов и скал стоит. Покосы на Фокинской речке, на Малой и Большой Слизневке. А наш покос на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману, Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе, ловили хариусов в речке, гребли сено, купались. Зимой мы на покосе никогда не были. Далеко и морозно. Какой он, покос, зимою? Кто там живет? Зайцы живут, лисы живут. И медведи живут. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что тогда останется корове? Но медведь их не пускает к зароду. Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-большой воз, до неба, и увезем. Я буду сидеть на самом высоком возу, и Алешка тоже. А дедушка и Кольча-младший будут идти сзади, курить, на лошадей покрикивать.

Мы едем по сено. Едем, едем, едем...

– Бр-р-рам! – повалился я с воза, подскочил, во что-то головой торнул, аж искры из глаз брызнули. Но надо мной должно быть небо, как же так?

Я поднял голову, – а вместо неба – щелястый потолок, вместо саней – горячая русская печка, и никакого воза, никакого сена. Бабушка в кути уронила пустую подойницу, я с перепугу треснулся башкой об потолок. Бабушка клянет кошку – всегда у нее кошка во всем виновата.

Я с печки долой, заглянул в горницу – кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на полати – деда нету. Глянул на вешалку –дох нету. И понял все. И запел. Бабушка занималась своими делами, гремела кринками, не слышала.

Я поддал громче – никакого толку. Тогда я кинулся на печку, ткнул сердито Алешку кулаком. Он с минугу паялился на меня.

– Ме-ме-ме! – показал я ему язык и еще свистнул, мол, наших нету, уехали.

И Алешка тоже ударился в голос. Ревел он протяжно, басовито: «Бу-бу-бу-у!»

– Ий-я вот вам поору! – наконец не выдержала бабушка. – Ишь чего удумали! По сено ехать! Сопли-то к полозьям приморозите, кто отдирать будет?

– А зачем тогда сулили-и-и?

Алешка поддерживает меня, тянет: «Бу-у-у!» Бабушка снова не обращает на нас внимания, а тут и слезы на исходе. Алешкино «бу-у-у» звучит уже едва слышно. Пузырь, правда, выдулся из ноздрей у него сильный, да бабушка не видела пузыря.

Я высунулся из-за косяка средней:

– Зачем тогда сулили-и-и?

– Ты чего на бабушку, на родну, зубы выставляш, а?

– Ничего-о-о-о!

– Ступай стайку чистить и ори там.

– Не пойду-у-!

– Как это не пойдешь?

– Не пойду-у!

– Я вот тебе не пойду! – Бабушка вытянула меня полотенцем по спине, и не больно нисколько, но обидно. Я залез обратно на печку, завернулся в старый полушубок и сказал себе, что не слезу с нее, пока не помру.

– Трескать идите, обозники! – позвала бабушка.

Я не отзывался, Алешка тряс меня за плечо, я отбросил его руку. Пропадите все вы со своей едой!

– Я кому сказала – жрать ступайте! – повысила голос бабушка. – У меня делов по завязку, а оне тут распелись! А ну, слазьте с печки! – И она бесцеремонно стянула с печки Алешку, затем меня и еще тычка мне дала, несильного, правда.

Мы нехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет и потому в средней не накрывают.

– А умываться кто будет? – поинтересовалась бабушка. – Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь! – пообещала она. – Эк ведь они, кровопивцы, урос завели! Шагом марш к рукомойнику.

Согнали сонную вялость ледяной водой, веселее сделалось. Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали, и нас еще нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами. Бабушка, пригорюнившись, глядела на нас.

– Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь. Какие ваши годы! Вот подрастете – и по сено, и по солому, и в извоз...

– На будущий год, да?

– На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете!

Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уже точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад Алешка, и я тоже рад. Мы весело метнулись на улицу, убирали навоз из стайки, пехалом выталкивали снег со двора, разметали дорогу перед воротами, чтобы легче с возами въезжать. Мы готовились встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено.

То-то потеха будет!

Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, встрясла половики, в доме стало свежо и светло.

Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуточку присела возле окна, буднично сказала:

– Господи-батюшко, умаялась-то как! – тут же она озабоченно поглядела в окно: – Ой, чё же мужиков-то долго нету? Уж ладно ли у них? – Она выбежала на улицу, поглядела, поглядела и вернулась: – Нету! Ох, чуёт мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил? И эта Лысуха, эта ведьма с гривой! Говорила не покупать ее, дак не послушались, приобрели одра ошептанного! Теперь вот надсажаются небось...

Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то, нечистых на руку, людей и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем за вечерело, бабушка сделала окончательный вывод:

– Так я и знала! Так я и знала! Эта Лысуха хорошо везет, да часто копыто отряхивает! Покуль ее лупишь, потуль и везет. У её и глаз-то чисто у Тришихи-колдуньи! Ох, тошно мне, тошнехонько! Ладно, если на Усть-Мане заночуют, а что, как в лесу, в этакую-то стужу! Робятишки, вы какого дьявола задницы на пече жарите?! А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят! То домой не загонишь, а тут сидят...

Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу, к дому заезжих. А наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и Кольчу-младшего? Но обозники верховские. Они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику, и против села переехали реку.

Бабушка встретила нас еще в сенках:

– Ну?

– Нету. Не видать.

– Ой, горе, горе! Да что же это такое! – Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени: – Мать Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани рабов Божьих, пособи им сено довести, не изувечь, не изурочь. И Лысуху, Лысуху умири!

В доме наступило отчаяние. Полное. Бабушка всплакнула в фартук. Мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас:

– А вы-то чё запели? Может, еще и ничего такого худого и нету. Может, просто задержались, воз завалили либо что? И нечего накаркивать беду!..

Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке:

– Робятишки! Вы какова лешака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!..

Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало – на себя и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Три воза сена загромодили его, ворота настежь. Я с ходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка – с другой. Бабушка ворота запирала и как ни в чем не бывало спрашивала:

– Чего долго-то?

– Дорога в замётах. В Манской речке версты две целиком протаптывали, – ответил Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягал Лысуху и покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.

– Деда, а деда, сено сегодня будем метать или завтра?

– Сегодня, сегодня, – ответил за него Кольча-младший, и мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дуги, сбрую. Мы лезли везде и всюду, на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. Но мы не боимся вил – это острая орудья, ею ребят не бьют, ею только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на возы, скатывались кубарем в снег.

– Вы дождетесь, вы дождетесь! – обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал.

Коней закинули попонами и увели в конюшню. Оглобли саней связали. Сыромятные завертки, растянутые возами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе, студеная, оцепенела луна, множество ярких звезд, снег повсюду мигал искрами.

Пришли дядя Иван и его сыновья, сродные братья нам, Ваня и Миша, да еще тетка Апроня. И началась шумная работа. Отвязали бастриг на первом возу. Он спружинил, подскочил и уцепился в луну, будто пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален. Сена – гора! Откуда-то взялась корова. Ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает – у нее тоже праздник. Собака забралась на сено. Ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать – корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже на сеновале, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу – утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, словно из воды, наверх и поплывешь; поплывешь, но еще не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот, – снова ух на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони!

– Ребятишки, вы живые там?

– Живы!

– Упрели небось?

– Не-е!

Но я уже весь мокрый и Алешка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого, урёмного запаха.

Перекур.

В изнеможении упали на сено, провалились в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. Бабушка стряхивает платок.

– Баб! – окликнул я ее. – Ты можешь траву узнать или цветок?

Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой болезни пользуют, доктора у нас на селе нету, так ходят к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить.

– Ну где же я в потемках-то? – ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно – это она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей: – Вот это осока. Легко отличается – жестка, с шипом, почти не теряет цвету. По Манской речке ее много. А вот эта, – отделяет она от горсти несколько былинки, – метличка. Ну, ее тоже хорошо знатко. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница-цветок.

– Жарок, да?

– По-нашему – жарок. Завял он, засох, краса вся его наземь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, красивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолго век цветка, да ярко, а человечья жизнь навряд ли и долгая, да цвету в ней не лишка...

Девятишар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофеевка, овсяница, чина и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал, А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком – ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался.

А я вот помню, как летом проснулся на этом вот сеновале. Было душно, глухо и темно.

Во тьме полыхали молнии, но грома и дождя еще не было. Вдруг грохнуло над самой головой. Я подскочил и полез в глубь сеновала. Внизу, в стойке, с насеста сшибло кур, они

закудахтали. Крышу осторожно, словно слепой человек голой подошвой ноги, пощупал дождь и, удостоверившись, что крыша на месте и я под нею, заходил, зашуршал по тесу, обросшему мхом по щелям и желобкам.

Меня отпустило. Курицы успокоились. Молнии сверкали, свет на мгновение вспыхивал, и все означалось: сено, грабли, старые веники на шесте, отчетливо выхватывало ласточек в гнезде, спокойно спящих. И снова ка-ак дало! И снова я подскочил с постеленки, пытался зарыться в сено, снова сшибло с насеста кур, и они разом заорали, забазарили – «ка-апру-ту-ту-какака». Одна курица, слышно было, летала по стайке, билась в стены и в углы, желала угодить на насест, но подружки ее, тесно сжавшиеся с вечера, сидели теперь вольно, какая к окошку головой и задом к открытой двери, какая наоборот – задом к окошку и головой к двери. Как застал слепой, вяжущий сон, так и сморились птахи. Та курица, что летала и «тпру-ту-ту» говорила, должно быть, уселась на пол.

К грому, к молниям все притерпелись, да и удалялись громы и молнии за горы. Пострадали всех: есть, мол, еще, есть небесные силы. и, если не будете старших слушаться, в первую голову бабушку, так они тут же явятся и покажут «кузькину мать».

Дождь размохнатился, загустел, будто шубой накрыл крышу и меня вместе с нею. Попадая на сучок, на шляпку гвоздя, на ошпину ли, редкие капли выбивались из все заполнившего шептания, трогали струну, натянутую над головой. Дышать стало легко. Ближе и свежее сделался запах веников, сухой травы. Село, подворье наше, и я вместо с ними, согласно и доверчиво погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой, запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять жвачку во рту, переступила, вздохнула, пробно скрипнула жвачкою, еще раз вздохнули и зажевала, зажевала...

Какой спокойный, какой глубокий сон наступил всюду...

Мне хотелось еще в сене пошарить, еще землянику сыскать, но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до седьмого пота.

Тесней и тесней становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углу и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешанные попарно на следи и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки о поперечины, шарили в темноте, отыскивая их.

На самом верху, там, где тес крыши сходилась торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под ним мокрые перышки. Где сейчас говоруньи ласточки? Тоскуют небось по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу.

Я забылся на минуту и услышал, как внизу, под нами, хрупают сено вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами.

Внизу, во дворе, начался разговор:

– Ну, Иван, лошадку ты отхватил! Одной рукой ее лупи, другой крестися...

– Недаром говорят... лошадь за рекой купи.

– А я ее где купил-то, шорта? За рекой, за горой, почти у кыргызов.

– Нет, робята, – вмешалась в разговор бабушка, – деньгами коня не купишь, токо удачей...

На этом и утешились, про коней говорить перестали, на сено перешли. Кольча-младший сказал:

– Сена лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну, как прикупать придется?

– Купило притупило! – снова вмешалась в разговор бабушка. – Соломы с заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить – коров не доить...

– На соломе да на пойле не лишка надоишь.

– Нет, пойло не бракуйте. Пойло всему голова. Токо руками его ладить надо, теплое чтобы, с отрубями. Если оплосками поить, тогда, конечно...

Завязался разговор, значит, работе конец. Да и полон сеновал. Мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы, – подскребают с саней. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из нас с Алешкой.

И вот сани заведены под навес, корова водворена на место. Бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце.

Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые, пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала:

– Хватит табачище-то жрать натошак. За стол ступайте, потом и жгите зелье клятое сколь влезет!

Мы уже за столом, в переднем углу оставили место деду. Это место свято – никто не имел права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся:

– Видали, работнички-то уж начеку!

Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось.

Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами.

– Это вам от зайца.

Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке: понял – это от зайца. Мы схватили калач. Он мерзлый, что камень. По очереди пытались откусить от него хоть крошечку.

– А это от лисы, – подал дедушка наливную зарыжелую шаньгу.

Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов, но это еще не все. Дедушка еще глубже залез рукою к мешочек и долго-долго не вынимал подарок, тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас.

А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко сперва остановилось, потом затрепыхалось, потом опять остановилось, в глазах рябило от напряжения. А дед томил. Ох, томил! «Ну, дедушка! – хотелось крикнуть. – Да что же у тебя там еще, что?» Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного, стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его:

– А это от самого Мишки. Он там сено наше караулил.

– От медведя? – вскочил я. – Алешка, это от медведя! Бу-бу-бу! – показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши – у нас с ним одинаковое представление о медведе.

Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду:

– Потеху потом бы отдал. Останутся без ужина. Да, мы так и не поели – некогда было и не хотелось вроде бы. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги залезли мы на полати. На печке сегодня спит дедушка – он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно

раскисающий кусочек калача, Алешка – кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Полати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто на нас не кричал – все утомились, на морозе напеклись и крепко спали.

Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю, тихую ночь дивно-дивные сны.

Конь с розовой гривой

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

– Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

– Конем, баба?

– Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник – совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса – потерял, – хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться – тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадобах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бадобах, пилил его, колот и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать – я точно не помню, – Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня – жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.

– Кума! – испуганно-радостным голосом восклицала она. – Долг-от я принесла! – И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

– Да стой ты, чумовая! – окликала ее бабушка. – Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас» состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.

– Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! – напускалась бабушка на соседку. – Мне рупь, другому рупь! Что же это получится?

Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

– Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами – ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.

В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях, – он когда-то был моряком.

Приплыл по акияну
Из Африки матрос,
Малютку облизьяну
Он в ящике привез...

Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и попесенно – у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», – так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой, а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра...» Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленях глубокая и широкая.

Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия – ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, и распахнутые двери выплескивается дружный хор:

Сидит она, тоскует
Все ночи напролет
И песенку такую
О родине поет:
«На теплом-теплом юге, на родине моей,
Живут, растут подруги
И нет совсем людей...»

Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой – сгреб вот какой-то пьяный охламон облизьянку, утащил ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет... И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга – да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!

Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведении:

– Зато как тятка шурунет нас – бегишь и не запнешша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубашке, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

– Я, Петровна, слободу люблю! – и обводил рукою вокруг себя: – Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

– Нечего куски выглядывать, – гремела она. – Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане – вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

– Выдь отсюдова! – строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: – Он сирота, а вы всешки при родителях! – И, жалостно глянув на меня, взрывал: – Мать-то ты хоть помнишь ли? – Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облакачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая; – Бадogi с ней по один год кололи-и-и! – И совсем уж разрыдавшись: – Когда ни придешь... ночь-полночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тетка Васеня, ребяташки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня. и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребяташки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда. Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек – чего придется.

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребяташки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные тuesки, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-батунa, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького тuesка стакана на два-три. Бабушка говорила: главное в ягодах – закрыть дно посуды. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребяташки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

– Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? – спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.

– А-га-га-гааа! – запела Танька. – Шанька шажрал, дак ничо-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды – и в рот их, в рот.

– Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? – зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзывать и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

– Бабушки Петровны испугался! Эх ты! – закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

– Зато мне бабушка пряник конем купит!

– Может, кобылой? – усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул; – Скажи уж лучше – боишься ее и еще жадный!

– Я?

– Ты!

– Жадный?

– Жадный!

– А хочешь, все ягоды съем? – сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровавленными глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

– Слабо! – сказал он.

– Мне слабо! – хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. – Мне слабо?! – повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: – Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце – предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой – теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятами под гору, к речке, и хвастался:

– Я еще у бабушки калач украду!

Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шанег еще прихвати либо пирог – ничего лишнее не будет.

– Ладно!

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика – пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее

со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька – его и нечистая сила не брала!

– Это еще чё! – хвалился Санька, воротившись из пещеры. – Я бы дальше побег, в глыбы побег ба, да босый я, там змеев гибель.

– Жмеев?! – Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

– Домовнику с домовым видел, – продолжал рассказывать Санька.

– Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! – срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

– Дак тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит – студено ему. А домовника худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только – схватит и слопаёт. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось – вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

– Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! – заржал Санька. – Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васенья, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

– Знаешь чё? – проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. – Ты в туес травы натолкай, сверху ягод – и готово дело! Ой, дитятко мое! – принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. – Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. – И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовника с домовым, змеи кишмя кишат.

Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо остро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травую туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву – получилось земляники даже с копной.

– Дитятко ты мое! – запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. – Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла

туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

– А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

– Не надо, Санька!

– Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» – терзался я ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня, покой «андельский» не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.

– Ты чего там елозишь? – хрипло спросила из темноты бабушка. – В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

– Не-е, – откликнулся я. – Сон приснился...

– Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовнику с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла...

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек.

О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уместно и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

– Уплыла Петровна! – ухмыльнулся Санька и цыкнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!

Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрепщины направо и налево – малые лезли под руку, путали леску.

– Крючка нету, – сердито буркнул он, – проглотил, должно, который-то.

– Помрет?

– Ништя-ак! – успокоил меня Санька. – Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.

– Идет.

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по-за логом.

Старшего дома не было. Его взял с собой «на бадogi» отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирал «народ», если тот начинал свалку.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поклевал на них и «с руки» закинул лески, чтобы дальше закинулось, – всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.

– Ша! – вытарашил глаза Санька, и мы покорно замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает.

Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорogie, сильные, ловкие, особенно за столом.

Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребяташки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! – заныли они скоро. – Уж изварилось! Са-ань!..»

– Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зеват? Токо бы слопать поскорейча. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..

– Понос у Витьки Катерининогo бывает. У нас не-эт.

– Я чё сказал?!

Смолкли орлы боевые. С Санькой не больно турусы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами; норovat огонь пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.

– Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь...

– Подавитесь!

Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребяташки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки – отогреться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси – могила. Не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, – кружевце истоньшалось и рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавле-

ние. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка – и все, бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст – у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь потачил, теперь этого!..»

«Дедушка ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою!»

– Ты чего нюнишь? – наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

– Ничего-о-о! – голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

– Ништя-ак! – утешил меня Санька. – Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Бойтся – ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сиротиночка», – ты тут и вылезешь!..

– Не буду так делать! – запротестовал я. – И слушаться тебя не буду!..

– Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются. Во! Ключуло! У тебя ключуло!

Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

– Не перешагивай через удилище! – суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый прут, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено – не пересыкай удочку?!»

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок – лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, ткнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.

– Ты куда! Стой! Стой, говорю! – кричала бабушка.

Я мчался во весь дух.

– Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!

Мужики поддали жару.

– Держи его! – крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка, всегда меня мучающая, девалась! Я долго отдыхивался и скоро обнаружил – подступает вечер – волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

– Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.

– Не-е, – ответил я как можно беспечнее. – Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, тонкошей Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:

– Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. – Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.

Но тетя Феня пораспрашивала, пораспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала к окну. «Не заперто!» – крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.

Тетя Феня оттеснила меня в сени, втокнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах – на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половики, притих, слушая.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем – не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натканной во все щели и под потолком. Травы эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два или три запутались в моих полосах, но я их не вытаскивал, страхась шевельнуться.

На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок.

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали» жердь? Скорей всего у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко...

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенях. Воровато прошмыгнул ко крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно...

Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное.

Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умиловить Господа.

Лишь на шестые сутки бабушку, распутившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосы на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались ключьями на бурьяне, на жердях и на заплотах.

Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили ца цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.

Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплестать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах.

Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: «Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает...»

А мама и была близко. Ее затащило под сплавную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи...

Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрост, что в маленькую долбленную лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме – наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой – земляникой, и, когда лодка опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: «Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то...»

Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного?

Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинута дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота!

На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

– ...Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

– Своих вечно потачил! – гремела бабушка. – Теперь этого! А он уж мошенничат! Чё потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.

– Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как «тета» сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:

– Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела – она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:

– Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

– Ну, што ты, што ты? – успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. – Чего голодной-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, – легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

– Я больше... Я больше... Я больше... – и ничего не мог дальше сказать.

– Ладно уж, умывайся да садись трескать! – все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я...

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острое. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного внука один на один с «генералом» – так он в сердцах или в насмешку называет бабушку.

Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:

– Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул – терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна.

И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку» оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив сигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек...

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

– Бери, бери, чё смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника – того дивного коня с розовой гривой.

Монах в новых штанах

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!

В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.

Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную – в мешки, помельче – швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.

Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.

Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо, положить – битую-бабку либо деньгу, – я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утерется.

Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!

Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой – наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка нозиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!

Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись! Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углы. Ничего там не было, кроме зелено-ватой-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: «У-у-а-ах!»

– Ага! – сказал я. – То-то, брат! Не больно у меня!..

Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.

Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает – я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.

Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена,

негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пошелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!

Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную – в зевасто открытый мешок, мелкую – в угол, гнилую – в короб. Трах-бах! Тарабах!

– Крути, верти, наворачивай! – подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.

Судили девицу одну,
Она дитя была года-ами-и-и-и...

Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.

Ее, по всем видам, тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка – Нюра, удалая песельница, я наострил ухо, по-бабушкиному – наустаурил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменщик. Ну, терпела, терпела девица изменшество, взяла с окошка нож вострый «и белу грудь ему промзила».

Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!

Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:

– Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?

Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуда мы не идем.

– Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушение укладу, нарушение Богом указанного порядку.

У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!

Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек – что ли, плохо? Подарочек – это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!

– Крути, верти, наворачивай!

Судили девицу одну,
Она дитя была года-а-ами-и-и-и...

Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: «Кто ест скоро, тот и работает скоро!» Ух, скоро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляницей вон надул – чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка – он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантрапа. Без штанов пойдешь, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому задку – такое уж у него назначение, раз голо – не удержишься, шлепнешь.

Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!

Шан-тра-па-а, шан-тра-апа-а-а-а...

Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек – бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась – уж не переделаешь.

Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком.

Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет – такой она человек!

Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..

Сошьют штаны с карманом в Первый май!..

Попробуй тогда меня поймай!..

Батюшки, брюквы-то – вон они! Упряг-то я одолел! Раза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку – все мне нипочем!

Судили девицу одну-у-у...

– Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?

Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!

– Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощ перешерстить – картошку, морковку, свеклу, – все могу!

– Ты уж, батюшко, тише на поворотах! Эк тебя заносит!

– Пускай заносит!

– Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?!

– Запьянел! – подтверждаю я. – В дрезину... Судили девицу одну-у...

– Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! – Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. – Напась вот на тебя мыла! – И подтолкнула в спину: – Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова!..

– Еще только обед?

– Тебе небось показалось, неделю тут робил?

– Ага!

Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.

– Вот ведь мошенник! – слышится внизу, в подвале. – Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове вроде таких нету... – Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.

Я надал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чирикание воробьев, схватившихся врукопашную среди двора, и

в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличики скоро печь начнут, краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разьест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вежи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам и наступит Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май...

Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!

Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.

Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом – под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со «шматьем». Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!

Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо «сам», то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям – кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро – две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; «золото» – нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и «питинбургского» происхождения; крышка от пудреницы иль табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на «рыбе», значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую «деньгу», накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до «выхода на люди», да вот наступила лихая минута – спасайся кто может, и спасай что можешь.

Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегаёт по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за дробовик хватается – стало быть, не забываешь, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас...

В «надежные руки», частенько в бабушкины, волоклось «добро», и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам: «Дак смотри, кума, на горе нашем не наживись...» – «Да што ты, што ты? У меня перебивало... Место не пролежит...» – «Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?»

Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.

Парнишка явится из разведки – голова вниз: «Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат...» – «И когда он подавится? Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в

тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублей за нее, и вот... Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос – за рекой слышать. Вот и запели, завеселились... – И вдруг с ходу, круто на „разведчика“: – В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что – „тятю не тронь!“.. Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-нюшки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз – не утонул, горел он в лесном пожаре – не сгорел, блудил в тайге – не заблудился... Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы нам без него, злодея, было... Сиротами бы росли да зато на спокойе, голодно, да не холодно...»

Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.

«Да будет вам, будет. Уймется же когда-то, не железный жа, не каменной...» – успокаивает горемычных постояльцев бабушка.

«Разведчик» опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: «Все! Свалился посереде избы...»

И обычная, привычная молитва: «Слава Тебе, Господи! Слава Те... Прости нас, бабушка Катерина, надоедам...» – «Да чё там? Каки шшоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!...»

И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного, к спине за время пьянки приросшего брюха.

– Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пускает, сдохни, говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей...

– Об чем?

– Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.

– Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воин! Мятажник!..

– Ну, дурак, дак чё? Пьяный дурак.

– И спросу с пьяного нету?

– Да какой спрос?

– А об стенку головой-то чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!

– О-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я таку безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..

Бабушка «ходит в сундук» – торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкатулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное – бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.

С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.

Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала – чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий – припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному

человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение – по миру идти.

Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку – она не замечала. Я кашлял, сначала один раз – она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, – она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке – и все равно меня не замечала... Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру – треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:

– Што мне с этим дитем делать? – Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немой и запачкает треко. – Оно же видит, это дите, – кручусь я как белка в колесе! Оно же знат – сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. – Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Ма-ахоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китайки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.

Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наичценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще – лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на кулича прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.

У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:

– На уж, окаянная твоя душа! – И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.

– Не-е-е...

– А чего же тебе? Ремня?

– Штаны-ы-ы...

Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:

– Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую – сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запру?

– Сама ешь!

– Сама? – Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. – Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу – сама!

Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:

– Э-э-э-э...

– Поори у меня, поори! – взрывалась бабушка, но я перекрывал ее своим рёвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. – Сошью, скоро сошью! Уж, батюшко,

не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий...

Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламычала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять – уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.

Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.

Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме – полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, – очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:

– Покор... покормили ли ребенка-то?... Там простокиша... калачи... в кладовке все... в ларе.

Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:

– Помрет вот бабушка, чё делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! – Она косила глаза на лампадку: – Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! – звала она тетку Августу. – Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой... Она... балованная у меня... А то ведь вам не скажи...

И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.

Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.

– Чё же за болезнь такая у тебя, бабушка? – как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекавшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:

– Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить?!

Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились – радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер – тоже радость. Обновка себе или детям – радость. Урожай на хлеб хороший – радость. Рыбалка была добычливой – радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не сделалась – это ли не радость?

Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, – и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.

– Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, – гладила меня по голове и каялась бабушка. – Обнадежила и не сшила...

– Сошьешь еще, куда спешить-то?

– Да уж дай только Бог подняться...

И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:

– О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!

Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, – ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.

Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.

Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос – ссыльные и есть ссыльные – варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили.

Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается – так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блестящее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит – так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.

Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:

– Комиссару без штанов никак нельзя, – перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. – Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить – и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..

В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:

– Н-не-е-е!

– Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.

– Правда-правда, – подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.

Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи – все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить – штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку.

Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек – это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась – вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.

– Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.

В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.

Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.

Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы почищенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.

Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.

– Ну вот, – сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: – Видела бы мать-то твоя, покойница...

Я хмуро потупился.

Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.

– Ешь и ступай к дедушке на заимку.

– Один, баба?

– Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!

– Ой, бабонька! – От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою.

– Ладно уж, ладно, – легонько отстранила меня бабушка. – Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший...

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васенья всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васенья подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз.

Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, шупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любит и на какую недостижимую высоту вознесся я.

Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги – гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.

Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке – помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.

Тетка Васенья сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.

К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Ману – промыслять маралов – панты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречу семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечая тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.

– Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?

«Конечно, я! Конечно, я!» – хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.

Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.

Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде! Да и путь неблизок – пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.

От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти по соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по кособоку. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, испаранные подковами, были выворочены внешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу – камешков поклевать, теплой пылью выбить

из себя вошей и блошек. Баня ему тут! Сидел бы смиренно в чаше, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.

У меня сбилось дыхание – громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал – много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.

И все же видел и слышал я будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могучней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню, конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтоб не мешать человеку петь. И сам наш конь – Ястреб – на исходе горы, вверху встревал в песню, пускал по горам и перевалам свое «и-го-го-о-о-о», но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седоки вы приятные – не хлещете меня, песни поете.

Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на камнях и осыпях мой голос, смешно повторяя: «Ха-халь!» Так, с песнею, я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.

Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжевато-черны, лишь кое-где мышастро серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.

Дорога здесь покрыта травой – гусиной лапкой, совсем неугнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку, всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники силились пойти в дудку, жарки тут, на солнцепеке, уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, губительной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шерсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны.

Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек.

Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел? Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликает ласточка...

А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?». Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал,

что он, поди-ка, много кедровых шишек съел. А говорить не мог от чудосотворения – пашня, земля, на нашу похожа, вот она, в рамке, но как живая!

Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и сокол, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым сукон и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями – не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась.

Дерево – это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трекает: то жук какой, то птичка, то ящерка, а выше – и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно б уже умерло, а это еще жило, трудно, с маетою, но жило, добывая опухшими корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.

Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится – жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубками, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.

«Ой, сажа! Ну и растяпа!» Но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только на локте одном да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге.

Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.

От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я надал шаг, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички, чистые осинники, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пеня и валежины обметало всходами сладкой, в налив идущей клубники; костяника белела и наливалась соком, под соснами хрустел мелколистный, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник – любимое его тут место – сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами – белый, целым венником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает «мигунка» на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились, и вот иду, а запах вокруг

меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка. особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада.

Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали камень. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи – змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел, сердце мое билось в груди гулко и часто.

Впервые видел я сверху слияние двух больших рек – Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно – бык отвесен и высок, Енисей напорист – у него не забалуешься.

Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему Мана! Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорожкой. А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение – отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Тербит, скручивает воду рыльями камней-опрядышей.

Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекой! На стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще дальше – порядок начинается: упалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху – остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недостижимо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах Мана-река – кормилица-поилица: пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы. Много порогов, росох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тыхты. Негнет. И как разумно поступила дикая река: перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила уголок наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка, ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок, туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубая леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могут совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до Соломенного плеса.

Упорные люди работали на этой земле!

Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно. Она – дальняя. Каждая заимка – повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, но все: и дом, и двор, и окна, и печь внутри – меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стоек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой.

За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, над ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над

нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали, не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира.

Я встрахнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь, почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плитняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со мною ухнули в Манскую речку.

Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, на меня напала резвость – я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился.

– Сапоги-то!

Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки.

«Растяпа! Недоумок! Сапоги спортил! Штаны замочил! Новые штаны!»

Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск.

Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше – смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.

Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.

Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал;

– Деда!

Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью.

Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стезжке – тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька! Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня:

– Монах в новых штанах! – Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке – сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги да еще с новыми союзками – и во сне ему не снились.

Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчёну – мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харьuzов и жареных сорожек – Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.

– Плавал на шаньгах-то? – любопытствовал Санька.

Дед ничего не спрашивал.

– Плавал! – отшил я Саньку.

После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пылью и лепестков на стол.

– Хы! Как ровно девчонка! – снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:

– Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое, нам непонятное. Вот.

Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:

– Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.

Мы вышли во двор, и я спросил:

– Чё это дед сегодня такой разговорчивый?

– Не знаю, – пожал плечами Санька. – Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. – Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: – Чё будем делать, монах в новых штанах?

– Додразнишься – уйду.

– Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.

Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не трековые, а суконные – так и бросит.

Эти слова окончательно убедили меня – заело Саньку. Но что дальше последует – не догадывался, потому что простофилей был и остался.

За полосой густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая – опрокинет вверх брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко – пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног – это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги.

– А тебе слабо!

– Мне-е? Слабо-о? – запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!»

– Цветочки только рвать! – зудил Санька.

«Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как...» Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось – пропасть. На пашне старики, бабы да ребяташки управляют. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые – шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать – этого мужики никогда не делают и детей своих сизмальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.

И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.

В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял – снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне – дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:

– Гад!

Сказал и перестал бороться.

Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:

– Аа-а, вляпался! А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!

Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я – Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.

– Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя!

– Нет!

– Ах, нет?! Сиди тоды да завтрава.

Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.

– Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! – закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.

Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажинной, на меже шевельнулись листья белены – Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?

Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь – живоглот пузатый!

– Так и будем сидеть?

– Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.

Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.

– Но ты, падина! – крикнул он, стягивая с себя штаны. – Упади только!

Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости.

– Безголовая кляча! – лез в грязь и ругался Санька. – Сколько я его надувал, он все одно надувается! – Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны – не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал: – Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами!..

Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопааясь.

Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаюсь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю – опущусь и запросто могу захлебнуться.

– Эй, ты, чё молчишь?

Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.

– Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь сейчас.

Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.

– Иди за дедушкой, гад!

Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.

– Миленький, не падай! – сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. – Не па-а-да-а-ай, миленький... Не па-а-ада-ай!..

Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испуга. «Так тебе, змею, и надо!»

От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка – журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.

А может, отдохнуть сели? Тогда пропащее дело.

Но из-за бугра появилась голова в белом платке, даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось – это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно неживые!

Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего – на поле за бочажинной, узнал я бабушку.

– Ба-а-абонька! Ми-иленька-а!.. Ой, ба-абонька-а-а! – заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже лягуха упрыгала куда-то.

– Ба-а-аба-а-а! Ба-а-абонька-а-а! Тону я! Ой, тону-у-у!

– Тошно мне, тошнехонько! Ой, чуяло мое сердце! Как тебя, аспида, занесло туда? – услышал я над собой крик бабушки. – Ой, не зря сосало под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!

И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные левонтьевской Танькой:

– Уш не лешаки ли тебя туда заташпыли?!

Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули, слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.

– Обутки-то! Сапоги-то! – показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безднажно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествуя, ровно бы доказывая кому-то, высказывалась:

– Не-ет, сердце мое не оманешь! Токо кровопивец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? Если бы загинул робенок?

– Не загинул жа...

Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась впереводку с бабушкой:

– Ох, каторжанец Шанька! Я тятке вшо-о рашшажу, – и грозила пальцем вдаль: – Тятка, шур-шур-шур! – Разве у Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.

Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтоб укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину как беглый лесной разбойник.

Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завывать, но бабушка уверяла, что так оно и быть должно, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чувствуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.

Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под наменного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное – пасти скотину, то отсылал в лес с заделем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, дед только кряхтел да пуще дымил сигаркою, я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.

Штаны мои бабушка выстирала, сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. «Эх, Санька, Санька!» – вздыхал я – мне жалко Саньку сделалось.

– Опять рематизня донимат? – поднялась на приступок печки бабушка, слышав мое кряхтенье.

– Жарко тут.

– Жар кости не ломит. Ложилось дураку – по три чирья на боку. Терпи. А то обезножешь – а сама к окну, Приложила руку, выглядывает. – И куда он этого супостата спровадил! Поглядите-ка, люди добрые! Говорила самому: ни от камня плода, ни от плута добра! Оне на меня союзом!.. Сам-от веку разбойнику дает, от меня спасат.

Тут – беда к беде – дед курицу проворонил. Курица эта пестрая вот уже лета по три норвила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость: где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.

Вечером засветилось в окне, замелькало, затрещало – это за ключом, на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденным зобом и головой.

Началось дознание, и выяснилось: Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру.

– Он так и заимку спалит, не моргнет! – шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозно, на исходе, должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и перекипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село – дел у нее там много накопилось.

Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота – что без нее в селе, как без командира на войне – разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину.

От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками.

Лето! Совсем уж полное лето пришло!

У притоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.

– Откусить серы?

– Откуси.

Санька откусил шматок листовенничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком.

– Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. – Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило.

– Болят ноги-то?

– Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.

– Харюз хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдет.

– Возьмешь меня?

– Так и отпустила тебя Катерина Петровна!

– Ее ж нету!

– Припрется!

– Я отпрошусь.

– Ну, если отпросишься... – Санька обернулся ко двору, ровно бы принялся, затем подлез к моему уху:

– Курить будешь? Вот! Я у дедушки стибрил. – Он показал горсть табаку, бумаги клочок и обломок от спичечного коробка. – Курить мирово! Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица отсюда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: «Восподь спаси! Христос спаси!» Умора!

– Ох, Санька, Санька! – совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. – Не сносить тебе удалой головы!..

– Ништя-аак! – с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.

Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высушившиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа – Терентия, когда тот из плаванья придет.

Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал. За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.

– Куда ты? – погрозил пальцем Санька. – Нельзя! Бабушка Катерина не велела!

Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок.

– Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся! Храбёр! – бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. – Потом опять издыхать примешься...

– Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, – помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть – все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекоотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.

– Н-н-но-о, ты, попляши у меня! – прикрикнул на мерина Санька. А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду...

Старенький, старенький Ястреб! Ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам...

Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почикивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться – Лидии-купальницы наступят. Может, и мне позволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умоваю на реку и выкупаюсь.

Мы с Санькой, держась с двух сторон за оброть, повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем.

Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел Ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.

Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.

– Н-не балуй! – громко кричали мы. Но Ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.

На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади.

На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед русского богатыря во времена похода, сделавшего передышку, – остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом.

Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко заняты делом; Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огорожина поспеет на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом – страда подойдет. Можно жить на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

Ангел-хранитель

В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах ревела под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурили и вроде бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы.

Кто как, кто чем добывал в эту пору пропитание. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали диких коз, сохатых, маралов, медвежьих берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чувствуется и зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу, в неприступные горы, словом, голод гонит и волка из колка.

Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья Верехтины и Саламатин-старик привезли коз. Поделились охотники с соседями чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесать.

Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сельскую продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни что ему надо было. С пустыми руками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь неприветливый город.

В тот год, именно в тот год, безлошадный и голодный, появились на зимнике мужики и бабы с котомками, понесли барахло и золотишко, у кого оно было, на мену, в «Торгсин».

Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало перебивалась. Бабушка усохла. Кость на ней выступила, характер ее, крутой и шумный, заметно смягчился.

– Ничего, мужики, ничего. До весны дотянем, а там...

Мужики – дедушка, Кольча-младший и я – слушали бабушку и понимали, что с нею не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Снова пришел к нам жить еще один «мужик» – Алешка. Тетка Августа перешла с лесозаготовок на Усть-Манский сплавной участок. Заимки на Мане перестали существовать, на полях пошла работа другого порядка: катали и возили по ним лес, громоздили штабеля там, где росли картошка, рожь и пшеница. Дед без пашни потерялся, не знал, куда себя девать и где сеять хлеб.

– Чего сделаешь, мужики? – толковала бабушка насчет Алешки. – Куда его денешь? Гуске паек давать на сплаву будут...

Она словно бы оправдывалась за Алешку. Но в нашей семье и раньше не принято было обсуждать бабушкины действия, теперь и подавно.

Августа по воскресеньям приходила с Усть-Маны, приносила муки, крупы. Один раз консерву принесла – «поросенок в желе». Желе это самое, по-нашему студень, в банке было, но поросенка мы там не нашли. От него в банке запечатали шкурку с косточкой.

На Августин паек надеяться нечего, поняли мы после «поросенка в желе».

Бабушка затолкала в котомку вязанные праздничные скатерти, отнесла их в город и променяла на хлеб. Потом дедушкин новый полушубок отнесла, потом свою, бережно, по деревенской традиции хранимую – для смертного часа – одежду: платье, чулки, платок, чуваки и нижнюю бязевую юбку.

Есть надо было каждый день, а барахло на рынке все падало и падало в цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в больших достатках?

Бабушка несколько раз снимала самодельный фанерный чехол с машины «Зигнер», оглаживала рукой ее изношенное тело так, будто та была живая и теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Кроме того, работала машинка

только потому, что бабушка до тонкостей знала ее характер. Зауросит, бывало, машинка – нитки рвать станет или вовсе шить откажется – бабушка поднимет ее корпус, обнажит с исподу сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в другое место, где из масленки помажет, где сметаной, дунет, плюнет – и, глядишь, застрочила машинка пулеметом, ожила на радость нашего и всех ближних домов. Машинка хотя и была бабушкина, но в то же время как бы принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И хотя в голодный год шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу – здесь ли машинка? Всем им да и бабушке тоже верилось – пока есть машинка, стоит на своем месте – живы и надежды на то, что минуют беды, что поработает еще она, будут люди шить обновы. Бабушка и не прочь бы «оторвать от сердца машинку», да чтоб только не увозить ее из села, здесь бы кому променять и после либо выкупить ее обратно, либо знать, что тут она, поблизости, всегда на нее посмотреть можно, даже пошить, и, таким образом, машинка как бы не совсем уйдет из бабушкиной жизни.

Но никто в деревне машинку не выменивал, а когда отказался от нее и заезжий ямщик, сказавши, что пока он ее довезет, так она и рассыплется, бабушка успокоилась.

– Да я лучше пересолю и выхлебаю, чем машины решусь...

Но пересаливать и хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранное просо пополам с мякиной, всякую дрянь стали есть.

Я всегда был в семье на особом положении. И мне всегда отделялся самый лучший, самый сладкий кусок. И никто против этого не возражал – так должно быть, так положено. А после того как я переболел лихорадкой, да еще ревматизм меня донимал постоянно, все наши особенно заботились обо мне и отказывали себе во всем, только чтоб я был сыт, одет и не хворал.

Ослабел я скорее всех. Начал опухать. И ноги, худые мои ноги перестали меня слушаться, ходил я, шатаюсь, голова у меня кружилась.

Тягостно и угрюмо сделалось в нашем доме.

Стойко державшаяся бабушка хоть и наставляла нас, носи платье, не складывай, терпи горе, не сказывай, но сама все чаще и чаще смахивала с лица слезы, тревожный ее, иссушенный бедою взгляд все дольше задерживался на мне.

Однажды наелись мы мерзлых картошек. С молоком ели картошки, с солью, и вроде бы все довольны остались, но меня начало мутить и полоскало так, что бабушка еле отводилась со мною.

– Мужики! Надо что-то делать, мужики... – взревела она. – Пропадет парнишка, А он пропадет – и я не жилец на этом свете. Я и дня не переживу...

Мужики тягостно молчали, думали. Дед и прежде-то говорил только в крайней необходимости, теперь, лишившись заимки, вовсе замолк, вздыхал только так, что тайга качалась – по заключению бабушки. Добиться от него разговора сделалось совсем невозможно. Бабушка глядела на Кольчу-младшего, тоже осунувшегося, посеревшего. А был он всегда румян, весел и деловит.

Мне показалось, бабушка смотрела на Кольчу-младшего не просто так, со скрытым смыслом смотрела, ровно бы ждала от него какого-то решения или совета.

– Что ж, мама, – заговорил медленно Кольча-младший и опустил глаза. – Тут уж считаться не приходится... Тут уж из двух одно: или потерять парнишку, или...

Бабушка не дослушала его, уронила голову на стол. Не голосила она, не причитала, как обычно, плакала, надсадно, загнанно всхрипывая. Кости на ее большой плоской спине ходунном ходили, в то время как руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки, с крапинками веснушек, с замытыми переломанными ногтями, покоились как бы отдельно от бабушки.

Кольча-младший достал кисет, начал лепить сигарку, но отвернулся, ровно бы поперхнувшись, закашлял и с недоделанной сигаркой, с кисетом в руке быстро ушел из избы, бухая половицами. Дед крикнул скрипуче, длинно и вышел следом за Кольчей-младшим.

Состоялся какой-то важный и тягостный совет. Какой, я не знал, но смутно догадывался – касается он меня. Мне в голову взбрело, будто хотят меня куда-то отправить, может, к тетке Марии и к ее мужу Зырянову, у которых я уже гостил в год смерти мамы, но жить у бездетных и скопидомных людей мне не поглянулось, и я выпросился поскорее к бабушке.

– Бабонька, не отправляйте меня к Зырянову, – тихо сказал я. – Не отправляйте. Я хоть чего есть стану. И картошки голые научусь... Санька сказывал – сначала только с картошек лихотит, потом ничего...

Бабушка резко подняла голову, взглянула на меня размытыми, глубоко ввалившимися глазами:

– Это кто же тебе про Зыряновых-то брякнул?

– Никто. Сам подумал.

Бабушка подобрала волосы, вытерла глаза ушком платка и прижала меня к себе:

– Чё ж тебя, как худу траву с поля, выживают? Удумал, нечего сказать! Дурачок ты мой, дурачок!

Она отстранила меня и ушла в горницу. Там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти пустого, и я не поспешил на этот приманчивый звон – никаких лампасеек, никаких лакомств больше в сундуке бабушки не хранилось.

Бабушки не было долго. Я заглянул в горницу и увидел ее на коленях перед открытым сундуком. Она не молилась, не плакала, стояла неподвижно, ровно бы в забытии. В руке ее было что-то зажато.

– Вот! – встряхнулась бабушка и разжала пальцы. – Вот, – повторила она, протягивая мне руку.

В глубине морщинистой темной ладони бабушки цветком чистотела горели золотые сережки.

– Матери твоей покойницы, – пошевелила спекшимися губами бабушка. – Все, што и осталось. Сама она их заработала, к свадьбе. На известковом бадогои с Левонтием зиму-зимскую ворочала. По праздникам надевала только. Она бережлива, уважительна была...

Бабушка смолкла, забылась, рука ее все так же была протянута ко мне, и в морщинах, в трещинах ладони все так же радостно, солнечно поигрывали золотом сережки. Я потрогал сережки пальцем, они катнулись на ладони, затинькали чуть слышно. Бабушка мгновенно зажала руку.

– Тебе сберегчи хотела. Память о матери. Да наступил черный день...

Губы бабушки мелко-мелко задрожали, но она не позволила себе ослабиться еще раз, не расплакалась, хлопнула крышку сундука, пошла в куть. Там бабушка завернула сережки в чистый носовой платок, затинула концы его зубами и велела позвать Кольчу-младшего.

– Собирайся в город, – молвила бабушка и отвернулась к окну. – Я не могу...

Кольча-младший надел старый полушубок, подпоясался, убрал сверток за пазуху. Все он делал медленно и молча, прятал глаза при этом. Кольча-младший плыл в лодке вместе с моей мамой, был кормовым, мама на лопашнях. Еще в той лодке была тетка Апронья и с ними семеро или восьмеро людей, но утонула моя мама. Когда лодка налетела на головку сплавной боны и опрокинулась, маму затинуло течением коренной воды под бону, она зацепилась косой за перевязь. Ее искали девять дней. Под боной поискать никому в голову не приходило, и пока не отопрела коса, не выдернулись волосы, болтало, мыло молодую женщину, потом оторвало бревнами, понесло и приткнуло далеко уже от села, возле Шалунина быка. Там ее зацепил багром сплавщик, и ничего уж, видно, святого за душой бродяги не было – отрезал у нее палец с обручальным кольцом.

Горе было так велико, так оно всех раздавило, что наша родня, не пожаловалась на пикетчиков в сельсовет, лишь горестно, недоуменно качала головой бабушка:

– Зачем же над мертвой-то галились? Покарат Господь за надругательство. А я бы и так отдала кольцо, все бы отдала, что есть у меня...

Мамы нет больше года, но Кольча-младший не находит себе места, все старается лаской, добротой загладить какую-то вину, хотя он ни в чем не виноват – смерть причину найдет. Каково-то идти ему в город, сдавать в «Торгсин» мамины сережки?

– Ну, с Богом! – перекрестила бабушка Кольчу-младшего. – Хорошеньче смотри за платком-то. Жуликов да мазуриков в городе развелось тучи.

Ничего на это не сказал Кольча-младший. Закурил на дорожку, поднял воротник полушубка, надел собачьи лохмашки и с сигаркой в зубах вышел из избы.

– Ты тоже шел бы на улку, к дедушке, – отвернувшись, молвила бабушка пустым голосом, и я отправился к дедушке, под навес, где он вязал метлы, смолил табак, заглушая голодную, сосущую нудь в животе.

Бабушке хотелось остаться одной. Всегда ее тянуло к людям, всегда она была среди них, всегда в гуще всех событий и в курсе всех деревенских дел, но сегодня ей хотелось быть одной.

Мы с дедом не тревожили ее. Осторожно, словно воры, пробрались и избу. В доме тихо, сумрачно. Лампу мы в этот вечер не зажигали. Керосин у нас кончился, и ужина не просили. «Ехали весь день до вечера, хватились – ужинать нечего», – пошутила бы бабушка в другое время. Но она даже не подала голоса и головы не подняла. Пластом лежала бабушка на кровати и не шевелилась, не ругалась, не творила молитв, лишь глаза ее светились во тьме недвижным, лампадным светом.

Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла и горсть сладких маковых – мне и Алешке гостинец. И еще немножко денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием «Торгсин», которое произносилось в селе с почтительностью и некоторым даже трепетом.

Бабушка завела квашню, намешала в муку мерзлых картошек, мякины, чтобы получилось побольше хлеба, и когда отстряпалась, половину плоских караваев, не вытронувшихся из-за примеси, засунула в котомку. Туда же бросила она узелок с солью, горсть луковиц, и Кольча-младший снова отправился в дорогу. С обозом он отбыл в верховские, богатые села. Верховскими у нас назывались села, расположенные в Ужурском, Новоселовском, Краснотурганском, Минусинском районах и прихакасских степях, потому как все это находилось в верховьях Енисея. И люди тамошние, и обозы, идущие оттуда, большие, длинные обозы с кладью, тоже звались верховскими.

Кольча-младший уехал наниматься на молотью. Он умел обращаться с молотилкой и, как утверждала бабушка, равных ему по ловкости и сноровке возле барабана не могло сыскаться. Что это за барабан такой, я не знал. Мне был известен лишь один барабан, в который колотят палками. Но на барабане Кольча-младший намеревался заработать хлеба, и мы стали его ждать.

Дедушка нанялся пилить дрова в сельсовет, и в большом нашем доме, где когда-то полно было народу, сделалось тихо, пустынно, дверь в горницу заколотили, чтобы не жечь лишние дрова.

Мука из «Торгсина», как ее ни растягивала бабушка, вся до пылинки истряпалась, надо было что-то снова есть. Дедушка испилил и сложил в поленницы дрова подле сельсовета, получил деньги. Получил он их немного, всего на булку хлеба, как определила бабушка. Она отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах ослабевшим от голода дедушкой.

Возвратилась бабушка вечером, с черемуховым батогом в руке. Первый раз взяла она тогда батожок и до смерти с ним уж не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз величиною, каравай.

– Отрежь скорее парнишке кусочек, – слабо сказала бабушка деду. – Замер вовсе парнишка. И себе отрежь.

Она сидела на скамейке не раздевшись, положив обе руки на черемуховую палку. И очень заметно бросилось мне в глаза, какая она стала старая и как согнулась в спине. Дед вынул каравай из котомки, взвесил его на руке и оглядел. Заросшее и без того хмурое его лицо запасмурнело совсем.

– Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, што ль?

– Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась вот, слава Богу. Я что? – Я – ломовой конь. Режь, режь! Ждет ребенок. Алешка-то где?

Я сказал, что Алешка ушел к матери на Усть-Ману, там столовку открыли и кормят сплавщиков казенной пищей. Августа Алешку возле себя теперь прокормит. Они теперь без горя проживут.

– И ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умер ли, чё ли? Прямо беда с тобой...

Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачивался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом.

– Ты чего? – тревожно повторила бабушка.

– Омманули тебя на базаре, – глухо вымолвил дед и воткнул ножик за настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки.

– К-как омманули? – Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками.

Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику.

– Ат жись! Ат чё деется! – бубнил он, на шаривая уголек за козырьком рукомойника, чтоб умыть меня с уголька – от испуга и урочества. Уголек куда-то запропастился, дед набрал воды в глубокую ладонь. Всего деда трясло, он все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше трех или пяти слов за день, совсем испугался, попросил посадить меня на печь.

Каравай оказался с начинкой, туфтой, как на блатном языке говорилось. Он только сверху каравай, в середину же запечена мякина.

Бабушка проклинала себя: где были у нее глаза?! – спрашивала. Лучше бы ей помереть. Счастьем бы она посчитала, если б не дожила до этих дней, не видела бы такого злодейства и жульничества.

Голосила и причитала бабушка долго. Причитая, она успела, между прочим, рассказать, как обрадовалась, когда узрела этот большой каравай, как ее насторожила спервоначала сходная цена, как она боялась, чтоб каравай не перехватили, оттого и не разломила его, полоумная, как выглядели продавцы – пристойно, на ее взгляд, выглядели, одеты в городское. Рассказала и о том, будто скоро все наладится, будто городским хлеб по карточкам начали выдавать и драк больших на базаре уж нету из-за продуктов.

По мере того как выговаривалась бабушка, легче становилось у меня на душе и дома не так уж страшно. Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился и когда сидела она на скамье неподвижно, как каменная, тогда страшно. А так ничего. Так все наладится. Сейчас бабушка поголосит, облегчится и чего-нибудь сообразит.

И в самом деле бабушка скоро позвала меня в куть.

– Гложи корочку-то. Корочка у каравай, будь он неладен, хлебна. Мякину-то выковыривай и гложи. Всякой хлеб не без мякины. Отец, ты тоже поешь маленько. Чё сделаешь? Им, супостатам, отольются наши слезы. Кто бедного обижают, тот гибель себе накликают. А гляди-ко чего я принесла-а-а! – пропела бабушка, полезла за пазуху, и вынула черненький, мохнатый

комочек. Он сразу запищал, начал тыкаться носом в бабушкину ладонь. – Тоже жрать хочет, пятнай его! – через силу улыбнулась бабушка и с непривычной, какой-то детской беспомощностью поглядела на меня, на деда. И было в этом взгляде: «Ну, дура я, старая дура! Можете судить меня, казнить, мне уж все едино. Только хотела я как лучше...»

Никто ее судить и казнить не собирался.

– Где это тебе такую чуду Бог послал? – мирно прогудел дедушка. Он взял за загривок щенка двумя пальцами и поднял в воздух. Щенок разом замолк и только дрыгнул задними лапками, отыскивая опору.

– Породистый, видать, холера! Не орет, – заключил дедушка.

Дед сроду охотником не был, в собаках ничего не понимал, однако мы согласились с ним – щенок породистый, уж очень он лохмат и уши у него большие, вислые.

– Тащусь это я у домов отдыха, – рассказывала бабушка, уже привычным, напевным голосом, – а он, горюшко, копошится в снегу, еле уж слышно скулит. Выбросили его на мороз – околевать. До собак ли? Остановилась это я, смотрю на горюна и плачу, про Витьку нашего думаю. Не будь нас, так же околевать бы его выбросили... – Бабушка вытерла платком уж летучие, жалостливые слезы и начала раздеваться. – Счас я, счас, мужики. Из коровенки вытяну молочка. Не надо бы доить ее. Теленок замрет во чреве. Ну да последний раз. А вы пока гложите корку-то, гложите. А щененку-то, Витька, палец дай. Он и уймется. Не омманешь – не проживешь, так выходит, – заключила бабушка и сердито покосилась на раскрытый каравай. – Я скоро. – Она схватила подойницу с полатей и поспешила во двор, мы с дедом стали выдергивать из каравая, из корочек мякину. Самую большую, выпуклую, будто крышка черепа, корку мы отложили бабушке.

Щенок чмокал, шибко прижимая мой палец к ребристому нёбу, постанывал и дрожал от голодной истомы.

Вернулась бабушка, принесла на дне подойницы молока и первым делом плеснула щенку. Затем она вынула чугунок из печи, налила всем кипятку и забелила его молоком.

Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался.

– Ишь ведь, язва, жрет, жре-от! Жить хочет! – сказала бабушка, глядя на щенка, и тут вздохнула: – Каждой Божьей твари жить надобно. Ничего, мужики, ничего, крута гора, да забывчива, лиха беда, но избывчива. Выкарабкаемся. Коровенка, Бог даст, скоро отелится. Кольча хлеба заробит. Нам бы до весны, до травочки дотянуть... Наелся, место ишшэт. – Щенок дохлопал молоко язычишком, ходил кругами по кути на расползающихся ногах. – Ты его с собой на нечь возьми, заколел он, за всю жизнь не отогреется.

И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнезвился там и заснул, грея меня своим, еле ощутимым дыханием. А я гладил его по кудрявой шерстке и размягченно думал о том, что «супостатам» отольются бабушкины слезы и что щенок вырастет, собакой сделается.

– Баб, а баб, а как мы его звать будем?

– Щененка-то? Да так и будем звать – Шариком. Он ведь ровно шарик. Так и будем. Дрыхнет?

– Спи-ит. Под мышку забрался и спит. Щекотно мне от него.

– Пусть спит. И человека, и животину жалеть надо, батюшко, потому как у животной тоже душа есть. Памятливая душа. Добро животная пуще человека помнит. Мы вот Шарика отогрели, покормили. Множко ли ему надо-то? А в дому сразу легче сделалось. И помяни ты мое слово... – Бабушка прервалась, прислушалась к чему-то в темноте настороженно и разом снялась с кровати: – Ой, больше, Кольча-младший приехал! Отец, ты ничего не слышал?

– Да навроде бы ворота скрипели.

– Кольча это, Кольча! – уверенным уже голосом подтвердила бабушка и зашуршала юбкой. – А я еще вчера подумала... Вот! Вот он, Шарик-то! Знамение это мне вышло, в образе его ангел-спаситель явился...

Когда мы вышли с дедом на улицу, бабушка уже успела расцеловаться с Кольчей-младшим, что-то говорила ему, плакала, помогала снять котомку.

– Витенька! Живой!.. – шагнул ко мне Кольча-младший, поднял на руки, прижал к небритой щеке. – Вот и ладно! Вот и ладно! А я тебе гостинец привез!..

Хотя беда приходит пудами, но уходит золотниками, до весны, до травки мы все-таки дотянули, однако с машинкой «Зигнер» пришлось разлучиться. Променяли ее за мешок картошек – садить было нечего. Первый раз в том году садили наши селяне разрезанную на две, где и на четыре половинки картофелину и шибко сомневались в будущем урожае. В том году вообще много чего происходило и делалось в первый раз. Когда выносили машинку, бабушка ушла из дому и голосила будто по покойнику.

От травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко – и как далеко – ведь каждый голодный месяц, да что там месяц, день – вечность, но все же легче сделалось жить.

Кольча-младший вступил в колхоз и женился другорядь. В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, легкая нравом, быстрая на ногу. Она пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями. Но с бабушкой у них не ладилось. Бабушка самолично сосватала Кольче-младшему невесту, степенную, смиренную, телом дебелую. Я и потом не раз замечал, что люди генеральского склада души не чают в тех, у кого характер ангельски-тихий. Но времена, когда женили, а не женились, к великому огорчению бабушки, прошли. Как-никак город от нашего села находился всего в восемнадцати верстах, и хотя отгораживали его от нас утесы, скалы да перевалы, все равно вольный, безбожный его дух долетал к нам и переворачивал все вверх дном.

Бабушка кляла городское поветрие, сулила глад и мор, – страшила людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, как сказано в каком-то Писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала.

Глад наступил. Мор, хоть и небольшой, тоже был, железные птицы – аэропланы, летали над горами. Все сбывалось по бабушкиному Писанию. Напуганный жуткими предсказаниями, я забивался под крыльцо или на печку, когда аэропланы пролетали над селом. Однако боялись железных птиц старухи, я да еще кое-какие ребятишки, послабей пупком. Орлы дяди Левонтия ничего не боялись, и когда аэроплан гудел над селом, они, голозадые, высыпали на улицу, кричали в небо:

Ироплап, ироплан!
Посади меня в карман!
А в кармане пуста,
Выросла капуста!..

Корова благополучно отелилась. Кольча-младший и Нюра работали на посевной, им выдавали понемножку жита. Августа на сплавном участке вышла в ударники, ей надбавили паек. Теперь она подсобляла и нам маленько – через день отправляла порцию каши из столовки.

Вместе с Августой работал на сплаве дядя Ваня. За харчем к нему бегал Кеша. Через гору бегал, через ту самую, которую одолел я когда-то в новых штанах, нам он тоже попутно кашу доставлял.

Ни один уважающий себя чалдон, будь он хоть какого возраста, если есть рядом река и несет она бревна – пешком не пойдет, твердо зная, что вверх везет беда, вниз несет вода.

В летнюю пору все наши селяне плавали на саликах – двух, трех или четырех бревнах, сколоченных скобами либо связанных проволокой. Чаще на двух. Четыре – это уж роскошь. Приезжие люди зажимивались от страха, узрев человека на двух бревнах посреди бешеной реки. Иной раз спасать выплывали и возвращались обруганные, сконфуженные, разводили руками.

Получив на сплавном участке пайку отца и Августы, Кеша связывал или сколачивал два бревна, пристраивал на них кастрюлю с ухой, в кастрюлю – чашку с кашей, в кашу – горбушку хлеба. Затем выбирал доску, какая полегче, и с таким «веслом» отбивал к селу, где я, бабушка и Шарик ждали его. Поскольку за харчем бегал не один Кеша и плавать все любили, то скобы со сплавного участка все перетаскали, добрую проволоку извели.

Раз Кеша связал два толстых бревна заваливающим концом веревки и сначала плыл ладно, песню пел: «Налеко в стране Иркутской». Салик шел ходко, бухал в боны, в бревна. Но вот поволокло салик к Манскому быку. Бык этот выступал в реку, вода била в его каменный угол. Здесь, как у Караульного быка, имелся унырыш, только еще глубже, провальней. Клокочет, бурлит вода в унырыше и, взлохмаченная, мятая, кругами выбрасывается оттуда, мчит под нависшим брюхом ржавого утеса.

Кеша под Манским быком проплывал много раз, ничего не боялся, еще громче песню орал, чтоб эхо под скалой эхало. Но беда настигла его в самый неподходящий момент. Лопнуло весло. Обломком доски Кеша не урулил салик, его затащило под бык, стукнуло – и бревна разошлись – лопнула веревка. Кеша не о себе и не о салике хлопотал в ту гиблую минуту, о кастрюле с пайкой. Кастрюлю он сграбастал, не дал ей утонуть. Меж тем ушла от него половина салика. Остался Кеша на одном бревне и, чтобы не сверзиться в воду, сел на бревно верхом, спустил ноги в реку – и понесло его, завертело, как хотело, потому что рулить совсем нечем, в руках кастрюля, ноги бревно удерживают.

Сидим мы на бережку: я, бабушка и Шарик, пайку ждем. Я камни и воду бросаю, бабушка о чем-то думает. Шарик умильно смотрит на нее, хвостиком по гальке колотит, шебаршит, рассыпается галька.

Вдали показался человек вроде бы на салике, но почему-то без весла. Таскает человека, кружит, поворачивает то передом, то задом, о боны стучает, но он не гребется и никаких признаков жизни не подает. Бабушка смотрела, смотрела, давай ругаться:

– Опеть какой-то сорванец на лесине катится! Опеть балуется! Ну жиганы! Ну сорвиголовы! Тонут, гинут – все неймется!..

У меня глаз поострее, вижу – Кеша это наш в аварию попал, как сказать бабушке, не придумаю. Между прочим, шумела бабушка для вида и порядка. Сама тоже на салике плавает. Положит котомку на бревна, перекрестится на известковый завод, на солнце-восход, усядется на салик и скажет:

– Отталкивай, батюшко! Восподи, баслови! – И я оттолкну ее, и она поплывет себе к городу, веселком погребая. Как увидит катер или пароход, закрестится, веслом машет: «Ходу! Ходу сбавляй!» – чтоб не смыло ее с бревен.

Все суровой смотрит на реку бабушка, все ближе братан подплывает.

– Тошно мне! – охнула бабушка, и ноги у нее подломились. – Да это, больше, Кешка наш? Что это, каторжанец, плаваешь на одном бревне?..

– Вож-ж-жа-а-а ло-о-опнула-а-а! – заревел Кеша. – Ловите меня-а, а то пайку утоплю-у-у-у!

Столкнули мы с берега чью-то лодку, поймали Кешу ниже села. Еле пальцы его разжали – так он крепко держал кастрюлю за дужки. Бабушка и ругалась, и смеялась, и крестилась, Кеша носом хлюпал, сидя на нашей печке. Бабушка лечила его и, передавая внука «шорту» – дяде Ване, наказывала, чтоб он в кузне наковал скоб и сам бы делал Кеше салик, не то жиган этот пайку уопит, не ровен час, и сам решится.

Спала коренная вода на Енисее. Жалица, щавель, дикая редька, медуница, петушки и много чего выросло на лугах. Хлеб наподобие кирпичей стали печь в церкви, приспособленной под пекарню, и выдавать понемногу на каждого едока. Бабушка причитала и ругалась: изничтожение-де не только храма Божьего, но и женской половины началось. От печки баб устранили, стало быть, их на мыло переделывать надо. Зачем они? Хлеб, кирпичом который, она ни за что есть не станет, потому как он машиной воняет да и на хлеб вовсе не похож.

– Не блажи-ко ты, не блажи, – урезонил ее дедушка, – давно ли корке были рады?

Бабушка сразу на него, конечно, безбожником, «коммунистом» и аспидом называла, корила, что крестится он для блезиру – перед едой, чтобы не подавиться, да перед севом и сенокосом, чтоб удача была, потому и хлеб казенный есть ему можно, ей же не пристало «скоромиться».

– Ну, не ешь! – бубнил дедушка в бороду. – Сердилась старуха три года на мир, а мир того не заметил.

Бабушка сделала вид, будто не расслышала дедушкиного ехидства, скоро, однако, и хлеб, кирпичом который, потихоньку да полегоньку пощипывать стала и незаметно к нему привыкла, оправдываясь:

– Люба пишша от Бога, а этот хлебушек в святом месте к тому же испеченный, сталыть, вовсе пишша Божья...

Шарик, которого бабушка звала насмешливо ангелом-хранителем, внимательно ее слушал и со всем, как есть со всем, что она говорила, соглашался и, как бы подводя итог, стучал хвостиком: «Совершенная истина! Ну, из совершенных совершенная!..» Между Шариком и бабушкой шла постоянная, затяжная борьба, в которой победы чаще одерживал Шарик. Главная цель в жизни Шарика – пробраться в избу, вылакать у кошки молоко и помочиться на веник под рукомойником.

Когда Шарик рос, его все как попало обзывали, тискали, чесали ему пузо. Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его сытое, пыльное пузо.

– Чтоб ты сдох! – говорили Шарику. – Экая ты падла! Экая балованная тварь!

Шарик жмурился, высовывал кончик красного языка от блаженства, потешно дрыгал задней лапой. Не думаю, чтоб Шарик понимал, что ему говорили, но одно он усвоил твердо: чем глупей, чем придурковатей себя вести, тем выгодней и лучше прожить на нынешнем свете можно.

Однако в таком селе, как наше, одной придурью не обойдешься. Нужна еще и осторожность. Она пришла к Шарику не сразу. Тот не охотник, тот не хозяин считался у нас, кто не держал свору собак. И каких собак! Во время голода поредела банда наших псов, но как только полегчало с едой, снова во дворах забрежали собаки, снова начали они шлаться по селу. Собак у нас держали только лаек, на людей лайки не бросаются, зато меж собой грызутся постоянно.

Шарика отсталые сельские псы принимали за диковинную зверушку и постоянно дежурили у наших ворот, чтоб скараулить эту зверушку и разорвать. В подворотне все время торчали три-четыре собачьих носа. Псы втягивали воздух, рычали, скалились. Шарик, миролюбиво подергивая хвостиком, подползал на брюхе к воротам, чтобы поиметь знакомство и войти в собачью семью добрым другом и товарищем.

Добром это кончиться не могло. Однажды за нашими воротами поднялся страшный вой, визг, лай.

– Тошно мне! – закричала бабушка и помчалась из дому. – Шарика вертят! Шарика вертят!.. Цыть! Язвило бы вас! Цыть! Волки ободранные!..

Принесли Шарика из-за ворот на руках, почти бездыханного, слабо постанывающего. Бабушка облепила бедолагу опарой, листьями подорожника, завернула его в старую шубу. Несколько дней Шарик лежал на печи, больной и тихий.

– Я-ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? – выговаривала бабушка Шарику. – Не лезь за ворота, не лезь! Так-то ты меня послушал? Так-то ты моему наказу внял?

Шарик слабенько колотил хвостом, что, дескать, поделаешь, промашка вышла. Хотел по-доброму в коллектив войти, вон люди и те в колхоз объединяются...

Вот тогда-то, во время болезни, донельзя изнеженный Шарик повадился есть у кошки молоко и ходить на веник. Уж как ни стерегла, как ни караулила бабушка Шарика, он все равно улавливал свой момент.

– Я те удозорю! Все едино удозорю и носом натychу! – грозила бабушка, и, надо сказать, настойчива она была в достижении цели.

Вот Шарик вылез из-под кухонного стола, потянулся – бабушка лук-батун в окрошку режет и на пса никакого внимания. Шарик ткнулся в кошачью посудину – нет там молока, он его уж подчистил. Шарик побренчал банкой и подался к рукомойнику. Бабушка лук режет, но вся она настороже. Понюхав веник, Шарик отошел от рукомойника, подумал, подумал и плюхнулся на брюхо среди кути, полежал, полежал, поднялся и снова к венику. Бабушка резко обернулась. На лице ее гнев и торжество. Шарик нюхал веник с невинной мордой. Повернувшись к бабушке, он подрыгал хвостиком: что тут такого особенного? Уж и веник не понюхай!

– Ну не бес ли? Не выжига?! – бессильно упала на скамейку бабушка.

Шарик смело протянул бабушке лапу.

– А подь ты к лешему? – оттолкнула она баловня. – Ловок ты, ловок! Да и я, брат, не лопуха! Я все едино тебя удозорю и натychу, натychу!..

Шарик полон внимания. Он слушал и в то же время поглядывал на жестяную банку – плеснула бы, дескать, молочишка, чем попусту болтать.

– Да на уж, облизень!

Через какое-то время дверь избы распахнулась настежь – это Шарик, разбежавшись, навалился на нее и был таков!

– Напрудил ведь! Напрудил! – простонала бабушка, глянув под рукомойку. И начинался поиск – под навесом, в амбаре, в стайке, под крыльцом. У бабушки в руке хворостина. Бабушка переполнена возмущением через край, но, смиряя себя, звала нежно, воркующе:

– Шаря, Шаря! Иди-ко, миленький, иди-ко, я те молочка дам, молочка-а-а-а! Шарик ни мур-мур. Шарик сквозь землю провалился.

– Тьфу! – плюнула бабушка и отбросила хворостину. – Лучше домой не являйся, нечистый дух!

Шарик объявлялся в ту пору, когда бабушка уж поостынет и гнев ее пойдет на убыль. Шарик вежливо скребется лапой в дверь, попискивает:

– Не пуцу я тебя, супостата, в избу! Не пуцу! – Шарик затих, успокоился. Ему главное сейчас – слышать голос, почуять, до какой степени еще раскален человек.

Управившись с делами, бабушка брала батог – для обороны и следовала по селу, проводить своих многочисленных родичей, нужно где чего указать, где в дела вмешаться, кого похвалить, кого побранить. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, в третьем, глядишь, и отпускают бабушку, генералом обзовут. Часто прибывала она с причитаниями домой, клялась, что ноги ее не будет до скончания века в таком-то и таком-то дому, у таких-то и таких-то дочерей и зятьев.

– Отгостевала! – бурчал дедушка.

Следом за бабушкой из дома в дом таскался Шарик. Следом за ним крались деревенские псы, храпели издали, пугая Шарика. Но бабушка не давала своего ангела-хранителя в обиду. Если какой отчаянный пес и выкатывался из подворотни и, невзирая на батог, сшибал Шарика на землю, бабушка хватала его в беремья.

Были живы и не затухли в Шарике охотничьи страсти. Он все время пытался подобраться к курицам и, хотя не изловил ни одной, поползновения свои не оставлял. Когда появились во дворе цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы.

Длинный летний вечер. Двери избы распахнуты, окна в горнице открыты. Дед, как всегда, что-то мастерил под навесом. Бабушка молилась, стоя на коленях перед иконостасом в горнице. Я видел сквозь листья герани и занавесы красных сережек, как голова ее то возникала за цветками, то опускалась ниже окна.

– Мира Заступница, Мати всенежная, я пред Тобою, грешница, мраком одетая. Ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдание... – Все чаще и чаще мелькала бабушкина голова в окне, слышно было, как она бухалась лбом об пол и голос ее уже на слезе. Мне казалось, бабушка знала, что дед слышал ее, и потому она прибавляла прыти в молитве, чтоб пронять его, доказать, какая она усердная в веровании, а он – грешник, но она по доброте своей и его грехи замолит. – Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющимся на тя. Да не погибнем мы, да избавимся от бед, ты бо еси спасение... Ша-а-рик, падина такая! Я вот тебе! – Забрехала бабушка в раму. Продолжая молиться, она торопливо бормотала, часто в замешательстве крестилась:

– Сбил ведь, сбил, нечистый дух! – Бабушка шевелила губами, вспоминая молитву, и вот громко, обрадованно попела дальше, перескакивая с пятого на десятое, толкуя молитвы на свой лад, приспособливая их к своей нужде.

– И рече ему Пресвятая Богородица: Сыне Мой и Бог Мой. Человеку, который аще похощет от чистого сердца... избавлю его вечные муки огня неугасимого, червя неусыпанного, ада преисподнего. Еще человек в дому своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравие, скоту прибыток, к тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать...

Бабушка чем дальше, тем самозабвенней колотилась лбом об пол. При этом она одним глазом смотрела слезно на Мати Божию, другим сурово следила за Шариком, который полз меж срубом подвала и заплотом к цыпушкам, укрывшимся в жалице вместе с курницей-паруницей. Как только Шарик приближался, курица топорщилась, хлопала, дергаясь головой, и, взъерошенная, с индюшку почти сделавшаяся, налетала на Шарика, и он задавал стрекача.

Шарик устраивал спектакль, – не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее, выманивал бабушку на улицу. Не выдержав испытания, бабушка выскакивала на крыльцо, воздевала руки к небу, ругала подлую псину распоследними словами, топала ногою, плевалась. Шарик полз к ней на брюхе, колотил хвостом по земле: виноват, виноват, но ничего с собой поделать не могу...

И если эта история, так горько и печально начавшаяся, заканчивается по-другому, в том повинен тоже Шарик – лукавая, глупая и преданная собака.

Мальчик в белой рубаше

В том же тридцать третьем году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда.

Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилось на заимки – убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую, низкорослую пшеницу с остистым колосом, уцелевшую в логах и низинах.

Улицы села обезлюдели. По ним беспризорно бродили мослатые телята, сипло блажили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос, тварь эту коровы сжевывают вместе с травой, и которую не дожуют, та шибко кусает кишки и брюшину, пока не сдохнет, корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила корову с заслонки, чтоб «заслонить» от худого глаза и хворей. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести беспокойно, ночами за околицей были одичавшие собаки, он подвывал им. порой переходя на горькое рыдание, – сердце рвало, вот как он рыдал, накликая, по мнению бабушки, неминуемую беду.

И накликал.

Верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала тетка Апронья, оставив дома ребятишек: Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весною пошел седьмой год, у Ванюхи на исходе шестой, Петеньке и четырех еще не минуло.

Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят.

Каким образом шла троица парней, где сил набралась и бесстрашия – объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но скорее всего – смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью.

На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами; затем – таежную седловину с каменными останцами и горбatinaми, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но дополна раскаленного острого камешника, принесенного потоками во время вешпеводья, миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем – в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы.

Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо охлопали пыль с головы и с рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке, под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали.

Очень устали Санька и Ванюха – поочередно несли в гору Петеньку на закукорках. А он такой тяжелый – долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди: то суслика показывали, попилом стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную Ману, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-пресладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься.

Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство: они показывали ему на желто скатывающуюся с

крутого кособобка полосу, где виднелись работающие люди: «Мама там. Она теплую шанежку и шкалик молочка Петеньке припасла».

Петенька сразу этому поверил, сглотнул слюну, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу.

Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил и про маму, и про шанежку, и про шкалик с молоком, и, когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет закатывающегося к вечеру солнца, высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле жала рожь и вязала снопы его мать.

Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники и младшенький к ней потопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рывине той было мягко ногам – песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмытому ли, обвалившемуся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги.

Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полосу жита, где до звона в голове пропеченная солнцем, оглохшая от усталости хруско резала серпом ржаные стебли его мать, в узелке под кустиком хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранной.

Скорей бы упряг одолеть, скорей бы солнце закатилось – и жница с поля напрямки побегит в село через гору – гостинец ребятишкам принесет. То-то радости будет! Как-то они там, соловьи-разбойники? Не подожгли бы чего. В реке не утонули бы...

Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, гасящие время, скрашивающие нудь однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжело уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия.

Она связала свою норму снопов, составила их в суслоны и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, разомнется, как к речке спустится, лицо и ноги ополоснет – совсем от одури очнется...

И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках, за Санькой и Ванюха вперевалку тащился. Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшенького Мухой кличут – легкий он, жужливый, непоседливый. Ванюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлится – почернеет весь, ногами топает, руку себе кусает. Быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал...

– Парни-то мои идут! Ножонками чапают! Муха-то моя жужжит, ягоду медову ищет. Бычок мычит – молочка хочет! – запела мать, встречая сыновей и на ходу выдавливая им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегивала, узелок свой разобрала: шанежку разложила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладошки сыпанула – ешьте, милые, питайтесь, славные. Как там малый-то наш, несмышлениш-то, без матери живет-поживает?

– А он к тебе ушел...

Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не обезголосила и не свалилась без сил наземь. Колхозная бригада рыскала по всем окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли, капельку крови нигде не увидели.

– Взял его, невинного и светлого, к себе во слуги-ангелы Господь Бог, – заверяли падкие на суеверия и жуткую небылицу старухи.

Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее «зуб», вышел-де несмышлениш-парнишонка на покос, там собаки соседские, и бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то

шито-крыто и сделали; под зарод, который метали в те поры, ребенка положили, зимою, когда сено вывезли, в снег его перепрятали, и там уж его зверушки доточили.

Но мужики прежде, задолго до жатвы, к Ильину дню, ставили сена на место, и не могли соседи быть в лугах, да и лайки сибирские – разумные собаки, никогда на людей, тем более на детей, не бросаются, разве что бешеные.

Внуков вынянчила моя тетка от Саньки и Ванюхи: много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей сколько теряла и хоронила – не счесть; двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко, оплачет, как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди – значит, душа их упокоена, на своем вечном она месте.

Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствах беспризорно бродит неприятная детская душа?..

Сорок с лишним лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться маленького сына, и сон ее кончается всегда одинаково: ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе...

Осенние грусти и радости

На исходе осени, когда голы уже леса, а горы по ту и другую сторону Енисея кажутся выше, громадней, и сам Енисей, в сентябре еще высветлившийся до донного камешника, со дна же возьмется сонною водой, и по пустым огородам проступит изморозь, в нашем селе наступает короткая, но бурная пора, пора рубки капусты.

Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие чалдонские семьи – дело основательное, требующее ежегодней подготовки, потому и рассказ о рубке капусты поведу я основательно, издалека.

Картошка на огородах выкопана, обсушена и ссыпана на еду – в подполье, на семена и продажу – в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки, тупыми рылами прорывшие обочины гряд, выдернуты, и пегие, дородные их тела покоятся в сумерках подвала поверх всякой другой овощи. Про овощ эту говорят в народе все как-то с насмешкой: «Чем бес не шутит, ныне и редька в торгу! В пост – редьки хвост!» Но вот обойтись без нее не могут, особенно после гулянок и при болезнях, когда требуется крепить дух и силу.

Хлеб убран, овощи при месте, ботва свалена в кучи, семя намято, путанные плети гороха и сизые кусты бобов с черными, ровно обуглившимися стручками брошены возле крыльца – для обтирки ног.

Возишь по свитым нитям гороха обувкой и невольно прошупываешь глазами желтый, в мочалку превращенный ворох, вдруг узрешь стручок, сморщенный, белый, с затвердевшими горошинами, и дрогнет, сожмется сердце. Вытрешь стручок о штаны, разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот и, пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся в огороде на горохе, подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые и белые цветочки, и как Шарик, всядная собака, шнырял в гороховых зарослях, зубами откусывал и, смачно чавкая, уминал сахаристые гороховые плюшки.

Теперь Шарика на грязный, заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась, развалила по грядам зеленую свою одежду. В пазухи вилок, меж листьев налило дождя и росы, а капуста уж так опилась, такие вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах, в лености и довольстве, не страшась малых заморозков, ждет она своего часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выхолили ее, отпоили водою.

Среди огорода стоит корова и не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею. Совсем еще недавно, стоило ей попасть в огород, они, как врага-чужеземца, гнали ее вон и лупили чем попало по хребту, ныне распахнули ворота – ходи сколько хочешь, питайся.

Она сперва ходила, бегала даже, задравши хвост, ободрала два вилка капусты, съела зеленую траву под черемухой, пожевала вехотку в предбаннике, затем остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски, от озадаченности ли корова вдруг заушает, заблажит, и со всех огородов, из-за конопляных и крапивных меж ей откликнутся такие же, разведенные с коллективом, недоумевающие коровы.

Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и порoshат давно выполотую траву, но больше сидят, растопорщившись, с досадою взирают на молодых петушков, которые пыжаты, привстают на цыпочки, пробуют голоса, да получается-то у них срамота, но не милая куриному сердцу, атаманская песня задиры петуха.

В такую вот унылую, осеннюю пору пробудился я утром от гула, грома, шипения и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог – по избе клубился пар, в кути, будто черти в преисподней, с раскаленными камнями метались человеки.

Поначалу мне даже и жутко сделалось. Я за трубу спросонья полез. Но тут же вспомнил, что на дворе поздняя осень и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту солить скоро будут! Красота!

Скатился с печки и в кузь.

– Баб, а баб... – гонялся за угорелой, потной бабушкой. – Баб, а баб?..

– Отвяжись! Видишь – не до тебя! И каку ты язву по мокрому полу шлендаешь? Опеть издыхать начнешь? Марш на печку!..

– Я только спросить хотел, когда убирать вилки. Ладно уж, жалко уж...

Я взобрался на печь. Под потолком душно и парко. Лицо обволакивало сыростью – дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока.

– Ешь и выметайся, – скомандовала она. – Капусту завтра убирать, благословесь, начнем.

В два жевка съел горбушку, в три глотка молоко выпил, сапожишки на ноги, шапчонку на голову, пальтишко в беремя и долой из дому. По кути пробирался ощупью. Везде тут кадки, бочонки, ушаты, накрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни брошены в воду, запертые стихии бушуют в бочках. Тянет из них смородинником, вереском, травую мятой и банным жаром.

– Кто там дверь расхабарил? – крикнула бабушка от печки.

В устье печки пошевеливалось, ворочалось пламя, бросая на лицо бабушки багровые отблески.

На улице я аж захлебнулся воздухом. Стоя на крыльце, отпыхиваясь, рубаху тряс, чтоб холодком потную спину обдало. Под навесом дедушка в старых бахилах стоял у точила и одной рукой крутил колесо, другой острил топор. Неловко так – крутить и точить. Это ж первейшая мальчишеская обязанность – крутить точило!

Я поспешил под навес, дед без разговоров передал мне железную кривую ручку. Сначала крутил я бойко, аж брызгала из-под камня точила рыжая вода. Но скоро пыл мой ослабел, все чаще менял я руку и с неудовольствием замечал – точить сегодня много есть чего: штук пять железных сечек да еще ножи для резки капусты, и, конечно, дед не упустит случая и непременно подправит все топоры. Я уж каялся, что высунулся крутить точило, и надеялся тайно па аварию с точилом или какое другое избавление от этой изнурительной работы.

Когда сил моих осталось совсем мало и пар от меня начал идти, и не я уж точило крутил, точило меня крутило, звякнула щеколда об железный зуб и по дворе появился Санька. Ну прямо как Бог или бес этот Санька! Всегда появляется в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить.

Насколько возможно, я бодро улыбался и ждал, чтоб он поскорее попросил ручку точила. Но Санька ж великая язва! Он сначала поздоровался с дедом, потолковал с ним о том о сем, как с ровней, и только после того как дед кивнул в мою сторону и буркнул: «Подмени работника». Санька небрежно перехватил у меня ручку, играючи, завертел ее, закрутилось, завертелось, зашипело точило, начало выхлестывать воду из корытца, дед приподнял топор:

– Полегче, полегче! Жало вывожу.

Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать.

– А мы скоро капусту рубить будем.

– Знаю. Катерина Петровна и наши бочки выпаривает. Мы помогать званы.

Да, конечно, Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только чтоб в школу не ходить. Ему неуды за поведение ставят и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Васеня беспомощно хлопала глазами, потом гонялась с железной клюкой за Санькой. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну руки в очугунелых мозолях, пытался своим жизненным примером убедить сына, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. Пьяный же дядя Левонтий неизменно спрашивал таблицу умножения у Саньки:

– Матрос! Братишка! – поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. – Сколько будет пятью пять? – и тут же сам себе с нескрываемым удовольствием отвечал: – Тридцать пять!

И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что не прав он, что пятью пять совсем не тридцать пять. Дядя Левонтий обижался на какие-либо поправки, принимался убеждать, что он человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал и захудал маленько сейчас вот только, но прежде с ним капитан парохода за ручку здоровался, и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал, за исправную службу. Правда, потом с парохода его списали, и часы он с горя пропил, но все равно не переставал гордиться собою.

Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тетке Васене повертывался – неправильно воспитывает детей, нет порядку на корабле! Васеня ж с претензией обратной, и пока шумели друг на дружку муж с женою, то уж окончательно забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось.

Кого почитал и побаивался Санька в селе, так это моего дедушку, без которого он и дня прожить не мог. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него, тогда он гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить.

И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал, укорил бабушку:

– Ровно на коня валишь! Ребенок все же!

Слово «ребенок» по отношению к Саньке звучало неубедительно как-то, бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он сроду не жалел, чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого и жигана, Саньку, он балует больше, чем родного внука – меня, значит, – но вилок в мешок бросала поменьше. Санька потребовал добавить ношу, бабушка покосилась в сторону деда:

– Надсадишься! Ребенок все же...

– Ништя-а-ак! Наваливай, не разговаривай! – Нетерпеливо перебирая ногами, Санька жевал с крепким хрустом белую кочерыжку. Бабушка добавила ему вилок-другой и подтолкнула в спину:

– Ступай, ступай! Будет.

Санька игогокнул, взглянул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысачком и, раскатившись в сенках, с грохотом вывалил вилки. Я мчался следом за ним с двумя вилами под мышками, и мне тоже было весело. Шарик катился за нами следом, гавкал, хватал за штаны зубами, курицы с кудахтаньем разлетались по сторонам.

Последние вилки вырубали уже за полдень и бросали их в предбанник. Бабушка убежала собирать на стол, мужики присели на травянистую завалинку бани отдохнуть и слышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли головы и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо над Енисеем. Гуси летели высоко над горами, и мне почему-то чудилось, что вижу я их во сне, и, как будто во сне же, все невнятной, все мягче становился отдающийся гусиный клик, ниточка тонышала, пока вовсе не истлела в красной, ветреную погоду предвещавшей заре.

От прощального ли клика гусей, оттого ли, что с огорода была убрана последняя овощь, от ранних ли огней, затлевших в окнах близких изб, от коровьего ли мыка, сделалось печально на душе. Санька с дедом тоже погрустнели. Дед докурил сигарку, смял ее бахилом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого приболевшего друга: огород весь был зябкий, взъерошенный, в лоскутьях капустного листа, с редкими кучами картофельной ботвы, с обнаженными, растрепанными кустами осота и ястребинника, с прозористыми, смятыми межами, с сиротски чернеющей черемухой.

– Ну вот, скоро и зима, – тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода, пустынно темнеющего среди прясел. Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку.

Забылся дед – нам ведь еще из предбанника вилки капусты брать, пускать корову пастись на обедках, она часами будет стоять недвижно среди захлавленной земли и время от времени орать на всю деревню – тоскуя по зеленым лугам, по крепко сбитому рогатому табуну.

Утром я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой. Я знал, что в нашем доме сейчас делается, что полна горница вольной вольницы, мне там быть позарез необходимо.

Еще с улицы услышал я стук сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помочь женщин:

Злые люди, ненавистные
Да хочут с милым
ра-а-азлучи-ить...

Ведет голос тонкий, звонкий – аж в ушах сверлит. И вдруг словно обвал с горы:

Э-эх, из-за денег, из-за ревности
Брошу милова-а-а люби-и-ить...

Никакая помочь без выпивки не бывает. Оттого и поют так слаженно и громко женщины – дернули по маленькой, чтобы радостней трудилось и пелось.

В два прыжка вымахнул я на крыльцо, распахнул дверь в куть. Батюшки-светы, что тут делается! Народу полна изба! Стукоток стоит невообразимый! Бабушка и женщины постарее мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, будто перемерзлый снег под сапогами. Руки у этих женщин до локтей в капустном крошечке, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка, нарезанная тонкими кружочками, и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста. На полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно: возле дверей уже стоит высокая капустная кадка, прикрытая кружком, задавленная огромными камнями, из-под кружка выступил мутный свекольный сок. В нем плавают семечки аниса и укропа – бабушка чуть-чуть добавляет того и другого – для запаха.

Вязко сделалось во рту.

Я вознамерился хватануть щепотку капусты из кадки, да увидел меня Санька, поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которая, я знаю, ходит сейчас на головах в средней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Саньки солов. Видать, подали Саньке маленькую женщины, или он возбудился от общего веселья. Колотит Санька пестиком так, что ступа колоколом звенит на весь дом, разлетаются из нее камешки соли.

Витька-титка – королек,
Съел у бабушки пирог!
Бабушка ругается,
Витька отпирается!.. —

подыгрывая себе пестиком, грянул Санька.

Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которая, я знал, была сегодня в нашей избе, а тут меня окатили песней этой насчет пирога, который я и в самом деле как-то унес и с этим же Санькой-живоглотом разделил. Но когда это было! Я уж давно раскаялся в содеянном, искупил вину. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом. Хотел я повернуться и уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, тетка Васенька смазала Саньку по ершистой макушке – и все обошлось.

Бабушка провела меня в среднюю, сдвинула на угол стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть, затем вынула из-под лавки бутылку с вином, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно, певуче приговаривать:

– А ну, бабоньки, а ну, подруженьки! Людям чтоб тын да помеха, нам чтоб смех да потеха!

Одна сечка перестала стучать, другая, третья.

– Штабы кисла, не перекисла, штабы на зубе хрустела!

– Штабы капуста была не пуста, штабы, как эта рюмочка, сама летела в уста!

– Мужик у моему она штабы костью в горле застревала, а у меня завсегда живьем катилась!.. – ухарски крикнула тетка Апроня, опрокинула рюмку и утерлась рукавом.

Бабы грохнули, и каждая из них, выпив рюмочку, сказала про своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать, но и помыслить не посмела б.

Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло. Проник было дядя Левонтий под тем видом, что не может найти нужную позарез вещь в своем доме, но женщины так зашумели, с таким удалством поперли на него, замахиваясь сечками и ножиками, что он быстро, с криком: «Сдурели, стервы!» – выкатился вон. Однако бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом:

– Э-эй, пал-лундр-ра! Пущай капуста такая же скусная будет.

Я наскоро пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрямывал в бочонке нарубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилок, толоч соль в ступе попеременно с Санькой, скользил на мокрых листьях, подпевал хору. Не удержав порыву, сам затянул выученную в школе песню:

Распустила Дуня косы,
А за нею все матросы!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня – ягодка моя!

– Тошно мне! – всплеснула бабушка руками. – Работник-то у меня чё выучил, а? Ну грамотей, ну грамотей! Я от похвалы возликовал и горланил громче прежнего:

Нам свобода нипочем!
Мы в окошко кирпичом!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня – ягодка моя!..

Меж тем в избе легко, как будто даже и шутейно, шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, секанув по деревянному борту, та или иная из рубщиц заявляла с громким, наигранным ужасом:

– Тошно мне! Вот так уработалась! Ты больше не подавай мне, тетка Катерина!

– И мне хватит! А то я на листья свалюсь!

– И мне!

– Много ль нам надо, бабам, битым, топтаным да изработанным...

– Эй, подружки, на печаль не сворачивай! – вмешивалась бабушка в разговор. – Печали наши до гроба с нами дойдут, от могилы в сторону увильнут и ко другим бабам прилипнут. Давайте еще споем. Пущай не слышно будет, как воем, а слышно, как поем. Гуска, заводи!

И снова вонзился в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина, избытое пространство звонкий голос тетки Августы, и все бабы с какой-то забубенностью, отчаянием, со слезливой растроганностью подхватывали протяжные песни.

Вместе со всеми пела и бабушка, и в то же время обмакивала плотно спрессовавшиеся половинки вилок в соленую воду, укладывала их в бочку – толково, с расчетливостью, затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошева капусты – эту работу она делала всегда сама, никому ее не передоверяла, и, приходя потом пробовать к нам капусту, женщины восхищались бабушкиным мастерством:

– А будь ты неладна! Слово како знаешь, Петровна? Ну чисто сахар!..

Взволнованная похвалой, бабушка ответствовала на это с оттенком скромной гордости:

– В любом деле не слово, а руки всему голова. Рук жалеть не надо. Руки, они всему скус и вид делают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда...

К вечеру работа затихала. Один по одному вылезали из горницы и из средней ребятишки. Обьевшиися сладких кочерыжек, они сплошь мучились животами, хныкали, просились домой. Досадливо собираясь, женщины хлопали их и желали, чтоб поскорее они вовсе попропадали, что нет от них, окаянных, ни житья, ни покоя, и с сожалением покидали дом, где царили весь, такой редкий в их жизни день, где труд был не в труд, в удовольствие и праздник.

– Благодарствуем, Катерина Петровна, за угощение, за приятну беседу. Просим к нам бывать! – кланялись женщины. Бабушка, в свою очередь, благодарила подружек за помощь и обещала быть, где и когда потребуется делу.

В сумерках выгребли из кухни лист, кочерыжки, капустные отходы. На скорую руку тетки мыли полы в избе, бросали половики и, только работа завершилась, с заимки, где еще оставался наш покос, вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убрали и подготовили к зиме.

Бабушка собрала на стол, налила дедушке и Кольче-младшему по рюмочке водки, как бы ненароком оставшейся в бутылке.

Все ужинали молча, устало.

Мужики интересовались, как с капустой? Управились ли? Бабушка отвечала, что, слава Тебе, Господи, управились, что капуста ноне уродилась соковитая, все как будто хорошо, но вот только соль ей не глянется, серая какая-то, несолкая и кабы она все дело не испортила. Ее успокаивали, вспоминая, что в девятнадцатом или в двадцатом году соль уж вовсе никудышной была, однако ж капуста все равно удалась и шибко выручила тогда семью.

После ужина дед и Кольча-младший курили. Бабушка толковала им насчет погреба, в котором надо подремонтировать сусеки. Утомленно, до слез зевая, наказывала она Кольче-младшему, чтобы он долго на вечерке не был, не шлялся бы до петухов со своей Нюрой-гуленой, потому как работы во дворе невпроворот, и не выспится он опять. И, конечно же, добавляла еще кой-чего про Нюрку, которая то у нас жила, то убегала ко своим, не выдержав бабушкиного угнетения и надзора.

Кольча-младший согласно слушал ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знали, что слова эти напрасны и не вонмет им никто.

Кольча-младший уходил из избы и еще на крыльце запевал что-то беззаботное, отстраненное, ровно на пороге отряхнул с себя, как дерево осенние листья, все бабушкины наказания.

– Эй, Мишка! Ты скоро там? – звал он за воротами.

Бездородный Мишка Коршуков, призретьный теткой Авдотьей и определившийся на временное жительство в ее доме, озоровато бросал: «Шшас! Гармошку починю, надиколонюсь, тетке Авдотье дров наколю, девок ее ремнем напорю, Тришихе окна перебью...»

Мишка Коршуков с Кольчей-младшим дерзко кричали под деревенскими окнами солоноватую частушку. Вслед парням, в украдкой раздвинутые занавески, смотрели завистливым оком тетки Авдотьины девки, которых она хотя и строго держит, однако часто удержать не может – сбегают они на мост, на вечерки. Тогда тетка Авдотья стремительно мчит по деревенским улицам, выглядывает их в укромных углах и тащит за волосы домой, срамя на весь белый свет, обзывая своих гулен распоследними словами.

Бабушка хукнула в стекло лампы и в темноте шептала, слушая тайно свершающуюся за окошком жизнь:

– Вот ведь сикухи! Вот ведь волосотряски! Нискоко мать не слушают! Не-е, мои девки ране... – Но не все, видать, и у ее девок было в ладу, таскала и она их за волосья, сколь мне известно. Перевернувшись на другой бок, бабушка и рассуждения распочинала с другого бока:

– Парни раздерутся опять! И эта, ни жена, ни невеста советская! Нет штабы дома посидеть, починяться, – на вечерку прибежит! Хоть бы Кольчу не подкололи. Народец-то ноне... Господи, оборони.

Ворочается, вздыхает, бормочет, молится бабушка, и мне приходит в голову – она ведь не об одном Кольче-младшем так вот беспокоилась. Те дядья мои и тетки, которые определились и живут самостоятельно, так же гуляли когда-то ночами, и так же вот ворочалась, думала о них и молилась бабушка. Какое же должно быть здоровое, какое большое сердце, коли обо всех оно, и обо мне тоже, болело, болит...

– Ах, рученьки мои, рученьки! – тихо причитала бабушка. – И куда же мне вас положить? И чем же мне вас натереть?

– Баб, а баб? Давай нашатырным спиртом? – Я терпеть не могу нашатырный спирт – он щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все.

– Ты еще не утомился? Спи давай. Без соплей мокро. Фершал нашелся!..

Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и света. Из кути тянет закипающей капустой, слышно, как она там начинает пузыриться, как с кряхтеньем оседают кружки, при-давленные гнетом.

Тикали ходики. Бабушка умолкла, перестала метаться на кровати, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо.

С первым утренним проблеском в щелях ставней она снова на ногах, управляется по дому, затем спешит на помощь, и теперь уже в другой избе разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни, за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капусты и кочерыжек. Целую неделю, иногда и две по всему селу рассыпался стукоток сечек, шмыгали из потреби-ловки женщины, пряча под полушалками шкалики, мужики, вытесненные из изб, толклись у гумна или подле покинутой мангазины, курили свежий табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молотье, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот должна наступить, какие виды и слухи насчет базара и базарных цен в городе.

Зима совершенно незаметно приходила в село под стук сечек, под дружные и протяжные женские песни. Пока женщины и ребятишки переходили из избы в избу, пока рубили капу-сту, намерзали на Енисее забереги; в огородные борозды крупы и снежку насыпало: на реке густела шуга; у Караульного быка появлялся белый подбой, ниже которого темнела полынья. К этой поре и запоздалые косяки гусей пролетали наши скалистые, непригодные для гнездовий и отсидок места.

И однажды ночью неслышно выпадал снег, первый раз давали корове навильник пахучего сена, она припадала к нему, зарываясь до рогов в шуршащую охапку. Шарик катался по снегу, прыгал, гавкал, будто рехнулся.

Днем мужики выкатывали из куги бочонки и кадки с капустой, по гладким доскам спус-кали их в подвал. Сразу в кути делалось просторно, бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый, мокрый пласт капусты. Она разрезала его ножиком на сло-истые куски, доставала вилки, хлеб.

Но мужики пробовали капусту без хлеба.

Кольча-младший хрустко жевал минуточку-другую. Я жевал. Дедушка жевал. Бабушка напряженно стояла в отдалении, терпеливо ожидала приговору.

– Ельник, березник – чем не дрова? Хрен да капуста – чем не еда? Закуска – я те дам! – заключал Кольча-младший и, крикнув, цеплял на вилку кус побольше и хрустел вкусно, с удовольствием.

Дед говорил просто:

– Ничего. Ести можно.

Я пока еще не имел права изображать из себя хозяина и просто показывал большой палец, мол, капуста на ять.

Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи! Теперь прозимует. Картошек накопили дивно – и себе, и на продажу хватит. Кольче катанки справим, самому полушубчишко бы надо. Витьке тоже чего-нито из одежки бы прикупить. Дерет, язвило бы его, пластат все...»

Весь день бабушка резво, будто молодая, суежилась по избе, наговаривала с собою, покрывала на меня, на Шарика, даже топала ногой. Но ни Шарик, ни я даже не собирались бояться ее в такой день, легкий, славный – бабушка сердилась на нас понарошке, пугала для виду.

Долгая, стойкая зима-приберица снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Большей частью под крышами изб, во дворах шла эта жизнь, в амбарах, стайках, и если хозяева-старатели запаслись овощью, ягодами, капустой – одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровые орехи, говорили вечерами сказки, с крещенских трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все праздники подряд.

И в каждой избе в центре стола, как главный фрукт, красовалась в тарелке, в чашке или в глиняной латке сельская беда и выручка – квашеная капуста, то выгибаясь горбом розового пласта, то растопорщившись сочным и мокрым листом, то накрошенная сечками.

И какая уж такая сила была в той капусте – знать мне не дано, однако смолачивали ее за зиму с картошкой, во щах, пареную, жареную и просто так целые бочонки, были здоровы, зубов и бодрости не теряли до старости, работали до самой могилы за двоих, пили под капусту за троих.

Фотография, на которой меня нет

Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу – приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница – муж с женою – стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмещалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливый, взялась его убеждать:

– Им тама нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. – Тетка Авдотья посчитала все Эти доводы неубедительными и прибавила: – Вшей напустют...

– Что же делать?

– Я чичас! Я мигом! – Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу. Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссылными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодежи, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова – самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вздыхнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло – все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние – в середине, плохие – назад – так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы – люди пропащие... Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о камень головки санок, коленки поносили, вывалились, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом.

Ночью наступила расплата за отчаянный разгул – у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу – тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завывать, очень долго. Раскидал одежку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка – ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

– Так я и знала! Так я и знала! – проснулась и заворчала бабушка. – Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» – повысила она голос. – Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! – Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее умиротворяюще. – И меня загибат...

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудой, флакончиками, баночками, скляночками – ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

– Где ты тутока?

– Зде-е-е-ся. – по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

– Зде-е-е-ся! – передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: – Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? – И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: – Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел...

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке – лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью.

– Спи, пташка малая, Господь с тобой и ангелы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в доме. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

– И чего к робенку привязалась? Обутки у него починеты, догляд людской...

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:

– Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!

– Да не сплю я, не сплю. Чё делать-то?

– Баню затопляй!

– Середь ночи?

– Середь ночи. Экой барин! Робенок-то! – Бабушка закрылась руками: – Да откуда напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку... Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чс ишшэш? Вчерашний день ишшэш? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..

Утром бабушка унесла меня в баню – сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла наша-

тырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня.

Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.

– Не может он, не может... Я те русским языком толкую! – говорила бабушка. – Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо, бедно ли, изладила. А он слег...

– Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. – настаивал Санька.

– Не может, говорю... Постой-ко, это ведь ты, жиган, сманил его на увал-то! – осенило бабушку. – Сманил, а теперича?..

– Бабушка Катерина...

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

– Все равно пойду! – кричал я на бабушку. – Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

– Да куда пойдешь-то? С печки на полати, – покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмахку, чтоб Санька убирался.

– Санька, постой! Не уходи-и-и! – завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

– Ну, куда пойдешь-то? Куда?

– Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

– Ладно! – решительно сказал Санька. – Ладно! – еще решительней повторил он. – Раз так, я тоже не пойду! Все! – И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в среднюю. – Не последний день на свете живем! – солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. – Еще наснимаемся! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, может, и на ахтомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? – закинул Санька удочку.

– Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

– Самолучший это в городе фотограф! Он хочь на портрет, хочь на пачпорт, хочь на коне, хочь на ероплане, хочь на чем заснимет!

– А школа? Школу он заснимет?

– Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, – приуныла бабушка.

– Вот! А ты...

– Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.

– В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

– Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! – Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки – все покидала. – Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка – враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка страшила меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят.

Деревенское окно, заделанное на зиму, – своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками – и все. Никаких излишеств. В средней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину – и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

– Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угара. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара – первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально-досконально, по выражению предсельсовета Митрохи.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы – где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка.

В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение – цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безногая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится – она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом – и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них – не знаю. Раньше не обращал внимания – некогда было, теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках – воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли – корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами – геранями, сержками, колючей розочкой, луковицами – находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в кути.

Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги – и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства – расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит: – Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевинкой и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождались?»

К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.

После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавилась толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.

Во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в кузь.

– Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! – совсем другим, церковным голосом запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в кути учительской одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.

Я притаился на печи. Учитель прошел в среднюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

– Поправляется, поправляется, – ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: – На еду уж здоров, вот на работу хил покуда.

Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня.

Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесаными лицами. Прическа под «политику» – волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

– Я принес тебе фотографию, – сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть – портфель остался там.

И вот она, фотография – на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня...

В гуще ребят, в самой середке – учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморзили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худа немочь».

– Ничего, ничего! – успокоил меня учитель. – Фотограф, может быть, еще приедет.

– А я что ему толкую? Я то же и толкую...

Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в среднюю, губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.

– Как парнишечка? Грызть-то не унялася?

– Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней.

– И слава Богу. И слава Богу. Они, робятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то было, а ниче, выросли. И ваш вырастет...

Самовар запел в кути протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда.

– Сам-от? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Каки наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.

– Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?

– Какой жа?

– Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

– А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите – и все дела.

– Да как-то неудобно.

– Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда преподобный Митроха распорядится? А и привезут сельсоветские – сырье сырьем, тоже радости мало.

Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий – лиходеи из лиходеев, когда пьяный, всю посуду прибьет, Васене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель – исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

– Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки – и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя, ни Боже мой, копейки не взял Жеребцов и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов – человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить.

А в какой школе начали работу наши учителя!

В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратный заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было – не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к коврику прибитое. Оно внушало почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла. Осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка. Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами – полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.

Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в «своем углу». Она все зимовье прибрала, перемыла, бесцельно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.

Когда выселили из дома деда Павла с семьей – не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов – помню я, помнят все старые люди.

Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страхась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стоек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними «незаметно» и всех остальных разобрали по домам.

Днем «бывшие» обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных пополах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой ярмине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.

Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, «ликвидаторы», радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или временки, срубленные для летней кухни.

Картошка, овощ, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная, не ценящая чужого добра и труда, оставляя открытыми крышки погребов и подвалов. Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся.

Часть кулацких пустующих домов – нижний конец села весь почти пустовал, тогда как верхний жил справнее, но «задали, запоили» верховские активистов – шел шепот по деревне, а я думаю, что активистам-ликвидаторам просто ловчее было зорить тех, кто поближе, чтоб далеко не ходить, верхний конец села держать «в резерве». Словом, живучий элемент начал занимать свои пустующие избы или жилье пролетарьев и активистов, переселившихся и покинутые дома, занимали и быстро приводили их в божеский вид. Крытые как попало и чем попало низовские окраинные избышки преобразились, ожили, засверкали чистыми окнами.

Многие дома в нашем селе строены на две половины, и не всегда во второй половине жили родственники, случалось, просто союзники по паю. Неделью, месяц, другой они могли еще терпеть многолюдство, тесноту, но потом начинались раздоры, чаще всего возле печи, меж бабами-стряпухами. Случалось, семья выселенцев снова оказывалась на улице, искала приюту. Однако большинство семейств все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скарбом, за овощью в подвал. Сами хозяйки иной раз проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно не беленной печи, управлялись по дому, крушили мебелишку новожители.

«Здравствуйте», – остановившись возле порога, еле слышно произносила бывшая хозяйка дома. Чаще всего ей не отвечали, кто от занятости и хамства, кто от презрения и классовой ненависти.

У Болтухиных, сменивших и загадивших уже несколько домов, насмехались, ерничали: «Проходите, хвастайте, чего забыли?..» – «Да вот сковороду бы взять, чигунку, клюку, ухват – варить...» – «Дак чё? Бери, как свое...» – Баба вызволяла инвентарь, норовя, помимо названного, прихватить и еще чего-нибудь: половичишки, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста.

Заселившие «справный» дом новожители, прежде всего бабы, стыдась вторжения в чужой угол, опустив долу очи, переживали, когда уйдет «сама». Болтухины же следили за «контрой», за недавними своими собутельниками, подругами и благодетелями – не вынесет ли откудова золотишко «бывшая», не потянут ли из захоронки ценную вещь: шубу, валенки, платок. Как уличат пойманного злоумышленника, сразу в крик: «А-а, воруюсь? В тюрьму захотела?..» – «Да как же ворую... это же мое, наше...» – «Было ваше, стало наше! Поволоку вот в сельсовет...»

Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» – говорили. Катька Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятое самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, не одну вещь «выкупила» у Болтухиных и вернула в описанные семьи.

К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнин-

ской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок.

Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное, при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе.

Немой Кирила, когда первый раз Платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромо́й ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом.

Кто-то из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кириле, что дома у них неладно, что снова Платоновских выселяют. Кирила примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутое барахлишко. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха хваталась за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее вытащат, но только отпустят, она сорванными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться.

Хозяин, чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену: «Да будет тебе, Парасковья! Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям...»

Ребятишки, их много было во дворе Платоновских, уже и тележку, давно приготовленную, загрузили, вещи, кои дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама. Пойдем...» – умоляли они Платошиху, утираясь рукавами.

Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху. Они столкнули ее с крыльца, но, полежав со скомканно задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки к распахнутой двери. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с наганом на боку пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. «Парасковья! Парасковья! Что ты? Что ты?...»

Тут и раздался утробный бычий крик: «М-м-маууу!...» Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятия и активисты. Разъяренный Кирила бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса, нашего же, деревенского.

На катере Кирилу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.

Гибель уполномоченного и бесчинство Кирилы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто, никогда, ничего о них больше не слышал.

Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму, а о деде Павле речь впереди.

Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс, потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятишками что-то в доме дорубал, доламывал и сокрушал.

Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет.

После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят.

Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплывили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили.

Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырьё». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра – старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было – один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник.

Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магазином, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату.

Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а-а... И варенье, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее. говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.

Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»

– А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! – бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.

– Думаю, скоро, – ответил учитель. – Выздоровливай и приходи в школу, а то отстанешь. – Он поклонился дому, бабушке, она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, – и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, – вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переуллка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.

Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:

– И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот чё грамота делат! – И увещевала меня; – Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники...

Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить со в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева – это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород – он так и сказал, – не из лесин, а из пород! – изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать листовенничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спастись от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камни отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

– Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела.

Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся, молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.

– Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! – кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскиали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

– Пойдемте, ребята, отсюда.

Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится.

Под горою учитель забрел в речку – Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил:

– Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?

– Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. – объясняли ребята учителю. – Да вы раньше-то хоть видели змей? – догадался кто-то спросить учителя.

– Нет, – виновато улыбнулся учитель. – Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.

Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!

Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя – с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения

Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька.

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя – сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями – ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах – всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядя красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь.

Деревенская фотография – своеобразная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда.

Бабушкин праздник

Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня – гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном доме, у матери и отца.

Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег – коли пировать, так и мудровать.

После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка – на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло – и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завалящую постряпушку.

Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.

Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.

Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятных годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.

Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечером, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг другу кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда – не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.

В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал,хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.

Дед даже и ухом не повел.

На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода – от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить – бабушка не трогала деда сразу после выпивки.

Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.

Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.

Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки – особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девоч она растила по-чуждому: то милует их, бантики из тряпочек в волосы приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девочек, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немтая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.

Девки подросли, и старшая – Агашка – пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в...ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.

После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторгивывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство – привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.

Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.

Терентий открыл створку ворот и в качестве «суприза» катнул во двор пузатенький, ловко-конький такой бочонок, густо затянутый окислившимися в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню – знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженненькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспеченной, семейной жизни под родной крышей.

Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.

Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство – дом, заплот, ворота – внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород, прокатился бы по грядам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Енисей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.

Тетка Авдотья, хоть и встречу уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петель ее не сорвавший, ногой катнула в обратную сторону, к воротам. Где

и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, пришлепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.

После этого тетка Авдотья молча двинулась навстречу лучезарно лыбящемуся мужу, раскинувшему руки для объятий, молча же сорвала шляпу с его головы, кучерявящейся младенческим пушком, шляпу шлепнула оземь и принялась месить ее голыми ногами, втаптывать в пыль, будто гремучую змею. Топтала, топтала, сорвалась на визг. Без слов, без ругани был тот визг. Все в нем спеклось, в этом страшном визге – боль, ненависть, звериная тоска полужены-полувдовы, нужда, одиночество, борьба с девками, перемогание хворей и насмешек деревенских сплетников и блудников, пользующихся услугами мелкой спекулянтки, батрачки, вздорной бабы, позорной, дикой пьянчужки – все-все втаптывала в пыль, в грязь тетка Авдотья.

Натоптавшись до бессилия, навизжавшись до белой слюны, тетка Авдотья молча подняла с дороги шляпу, измызанную, похожую на недосохшую коровью лепеху или гриб-бздох, вялым движением, как бы по обязанности, доводя свою роль до конца, раз-другой хлопнула шляпой по морде мужа, напяливая ее на голову его до ушей, пристукнула кулаком сверху и удалилась во двор.

Весь нижний конец села упивался этой картиной. Задохнувшийся пылью, оглушенный налетом, Терентий долго отплевывался, утирался рукавом, растерянно наблюдая, как Авдотья запирала ворота, как пнула подвернувшегося на пути его любимого пса Мистера, как резко задернула занавески на окнах, даже веревочку порвала у одной занавески, как расшуровала из дому всех, даже девок, выдворила заспавшегося кота, не пощадила и курицу-парунью, сидевшую в сите на куделе, вместе с яйцами хрюснула с крыльца и, матерясь, искала еще чего бы сокрушить и выкинуть.

– Во, штурела, курва, во штурела!.. – трусовато, чтоб народ слышал, а баба, впавшая в неистовство, не слышала, частил однозубым ртом Терентий.

Когда тетка Авдотья выдохлась, поутихла, влезла на полати, как всегда, влезла надолго в привычное убежище, дети и внуки, спрятавшиеся в старом амбаре и не смеющие до темноты показываться в избе, наблюдали в щели амбара, как их папа Терентий сидел среди улицы на бочонке с омулем, бил себя кулаками по голове и со слезами зывал в пространство:

– Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?

– А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты за моду взял: наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихорь унесешься? – корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. – Ты подумал бы башкой своей удалой, – бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будто по тыкве, – как твои детки тут? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блюдет себя?.. Или тебе гори все огнем-полымем?

– О-о-ой! – мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. – Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!

Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас. Через день сломленная жалостью бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с «прошлым», будет как «андел» – тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку своей жизни».

Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить по селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, «длинные, фартовые» рубли искать. Тетка Авдотья опять «налаживалась» и хорошо, что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери.

После того, как снова и надолго исчезал Терентий, дом тетки Авдотьи являл собой подобие осеннего, полуубранного огорода или реку после ледохода: все перевернуто и опрокинуто, всюду валялись битые черепки, поленья, ломаные скамейки и табуретки, горшки с замертво выпавшими из них цветками, рванье всякое, распушенная подушка, по столу валялись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась связка луковиц, из переполненной лохани текла зловонная жижа. Кошка куда-то сбежала, во дворе, возле разваленной поленицы, причитал всеми забытый кобелишка по имени Мистер. Совершенно он сбит с толку превратностями жизни. Совсем недавно его от пуза кормили всевозможными яствами – мясом, мозговыми костями, жирными щами, остатками пирогов. Терентий даже пельменей выносил, один раз насильно засунул в рот конфетку. Испытывая отвращение, Мистер через силу счавкал конфетку вместе с бумажкой. Терентий поцеловал его в морду, назвал «вумницей» – и вот на тебе, морят живую душу голодом, не только не кормят, но и не поят, даже с цепочки не спускают, чтоб промыслить чего-нибудь по селу. Более того, распинав всякое битое и драное имущество, если подвернутся, и детей с внучатами распинав, тетка Авдотья, хоть летом, хоть зимой, босая, косматая, выскочив на крыльцо, орет:

– Сдохни! Околей! – и хватается за что попало. Тут уж прячься живей, влезай в какую-нибудь щель – зашибет!

Давно заведенная квашня оплыла по краям, нашлепались на стол серые ошметки. Тесто засыхало само по себе, и в нем, судорожно дергаясь, затихали налипшие мухи и тараканы. Квашня эта, кислый ее запах не давали тетке Авдотье покоя, хлебный дух тревожил ее и звал к печи. Спустившись с полатей, нащупывая ногой обутки, проклиная жизнь и все на свете, тетка Авдотья с трудом растопляла давно остывшую и оттого дымящую печь. Двигалась она словно бы во сне, расходилась словно после болезни, начиная творить привычную бабью работу, распиная и рассовывая по углам стекла, ломь всякую, тряпье, но, видя, что хлам и сор никуда не деваются, бралась за веник, потом и за тряпку, скребла, мыла, все еще ругаясь, всхлипывая, высказываясь.

Утром в более или менее прибранном доме пахло хлебом, на столе остывали плоские караваи из перекишшего горького теста.

– Жрите! – коротко бросала девкам и внукам, все еще опасливо выглядывающим из-за косяков дверей, из углов, тетка Авдотья: – Да собачонке не забудьте дать.

День, другой, третий, иногда и неделю налаживалась и входила в берега разлаженная, выбитая из колеи жизнь в доме тетки Авдотьи. Потихоньку, помаленьку девки, их дети, затем и сама тетка Авдотья начинали выходить за ворота, являлись селу и людям.

– Сошла луна с ущербу, – понарошке крестилась бабушка. – Чё не заходишь-то?

Тетка Авдотья, пробурчав: «Мы бедны, вы богаты», – отвернувшись, проходила мимо. Одевалась она в эту пору во все драное, старое, заношенное, чтоб треснутые пятки из обуви было видно, чтоб все понимали, какая она несчастная, отверженная, всеми брошенная.

Но вот в прибранном, угоенном доме, во время рукоделия или при починке изорванной одежды, теребления ли пера, а то и у прялки, тетка Авдотья тоненько, без слов принималась чего-то в забывчивости напевать, потом и на слова переходила. Ну, дети уж тут как тут, не отстанут от родимой матушки, радостно подхватят, поведут – заслушаешься. И дойдет у них дело до самой жалостной, самой близкой их сердцу песни про коварную и изменчивую любовь. Хотя и есть в песне предупреждение: «Не любите моряка, моряки оманут», – все равно не устоять слабому девичьему сердцу под напором страстей, и дело заканчивается известно чем: «Месяц светит за окном, дождь идет уныло, а в руках она несет матросенка-сына».

И как разольются по селу, отзвонят отчаянные голоса тетки Авдотьиных девок, долго еще смотрит в окно, в пространство слепыми от слез глазами сама тетка Авдотья. И чего она там видит, об чем думает и страдает? Спohватится, встряхнется и с протяжным вздохом молвит тетка Авдотья, ловя рукой иголку или веретено:

– Ох, девки, девки! Блядишшы вы блядишшы, я пропаду, и вы пропадете.

Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.

Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняя обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.

Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку – завелась она надолго, – дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему клонится дело, я ринулся в избу:

– Баб, а баб! Дедушка уезжает!..

– И понеси лешак! – с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.

Бунт деда дошел до такого накала, что он и не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегой в щепье.

– И не запирай! И не запирай! – кричала бабушка с крыльца. – И я не запру! И я не запру! Стыдобушки-то! Сраму-то! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..

Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племенного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани.

Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!

– Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! – подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. – Съедутся детки родимые, где тятя – спросят. Внуки, деточки малые – где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет – и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а...

Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.

До самой ночи порога были полыми, но когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице заворину, пообstreкались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:

– Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Че и сказала-то! Ну, не выпивал, дак не выпивал. Я тоже нервная, тоже могу лишнее брякнуть... Конишку-то, конишку забьет! В ем, в крехтуне, зла этого... Ой, забьет...

Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость, все разговаривала так, будто дед – вот он, рядом, но потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку.

– Кольчу мне жалко, Кольчу, – толковала мне бабушка. – Сам-от хоть седни, хоть завтра с голоду окочурься – не охну. И не единой слезы не уроню. Ни единой!.. – Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: – Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор... Созови. Он ндравный, но тебя послушат... Созови, батюшко...

Легко сказать – созови, а как созову? Затруднительно! Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.

Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал:

Распроклятая картошка,
Что ж ты долго не кипишь?
Гости все поцеловались,
Ты холодная стоишь!..

Эть, клюнуло! Дедушка потянул воздух широкой ноздрей и ухмыльнулся в бороду.

– Где соль, деда?

Он воззрился на меня с досадою: даже тут, вдалеке от постылого дома, ему покоя нет, даже тут, в тайге дремучей, не дают ему побыть в гордой уединенности, что ж ему – в землю закапываться?

– Где же ей быть? В избе...

Еще клюнуло! Выдавил из деда слово – это не так уж мало! Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся, тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом, в деревню ему охота, по вечерам шляться.

Соль соленая-ядренная,
Тра-та-та-та... —

орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли, прицелился другую бухнуть, но тут:

– Соль-то покупная...

Ага-а-а, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься! Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься. Пока еще меня ни о чем не спрашиваешь, пока еще делаешь вид: мол, пусть все горит-полыхает – и не охну, и не загорю, освободился от оков...

Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб нарезал, шаньги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания, курит табак, ничего больше не делает. Сидит па чурбаке, смотрит вдаль, за Ману, полный презрения к хозяйству и труду, и от него дым, как от парохода.

– Позвать Кольчу-то?

– Зови. Мне што?

Я мчался в поле, издали махал рукой, кричал:

– Дя-а-а-а Коля-а-а! Дя-а-а-а Ко-о-оля-а-а-а!

Кольча-младший огораживал стог сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубаха у него навывпуск, в волнистом чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога. Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших

действиях. Под видом неотложных дел он уберется после обеда с заимки. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется домой, в село.

– Только ничем ему тут не досаждай и не серди, – наказывал дядя. – Смотри, не сделай промашку!

Сполоснувшись в реке, Кольча-младший сел за стол и крикнул в открытую дверь:

– Тятя, ты чего ись-то не идешь! Ждем ведь!

– Бу-бу-бу.

Дед бубнит в бороду, чего бубнит – разбери попробуй! Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистили картошки, стараясь не глядеть на него. Сначала нехотя, замедленно ел дед, выбирая из чугуна кособокие, маленькие, поврежденные картохи, долго, с кряхтеньем чистил, круто их солил. Сплошная скорбь наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел, я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало.

Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому, – бабушка послала еды в обрез, чтобы раздражить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика.

После обеда я забрался на полати, Кольча-младший, как и договорено было, смотался с заимки в село. Дед ходил по двору, бубнил, постукивал топором.

Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Но вот звякнули удила оброты, дед перестал колесить по двору. Ушел за конем.

Сломался дед!

Вскоре по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятаил к телеге неповоротливого Ястреба, затем собирал шмотки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ.

– Спать, што ли, сюда явился? – недовольно, в пространство обронил он.

Я нехотя спустился с полатей, потянулся, зевнул, будто разоспался.

В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрыл ворота, я ждал. Долго закрывал ворота дед. Не раздумал бы. Нет. Сморкается, закуривает основательно – на дорогу.

Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал Ястреба, ехал домой словно бы по повинности. На полпути, не оборачиваясь, мрачно полюбопытствовал:

– Сама послала?

Я прикинул – Королев лог проехали, скоро спуск к селу начнется и возвращаться на заимку никакого резона нет.

– Сама.

– А-а-а!.. То-то!

Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал заключение: дед наслаждался местью и торжествует. «А-а-а» – значит, достукались, довели человека до крайности – и что получилось? «То-то!» – значит, какой бы я ни был «толстодум» и «крехтун», но без меня не обойтись, потому как хозяином я в дому был и хозяином останусь. Сколько бы вы там ни фордыбачили. И праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся...

– Н-но, Ястреб! Н-но, Ястребушко! – шевелил вожжами дед и к дому подкатил на рысях.

Бабушка ворота открывала. Ястреба под узду брала, по двору не ходила она, а прямо летала, на меня смотрела благодарно, на деда – заискивающе, и все разговаривала, разговаривала. Дед никакого пока ей ответа не давал.

– Может, с устатку выпьешь? – за ужином предложила бабушка и примчала из горницы шкалик водки.

Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крикнул одобрительно и принялся за щи.

В доме нашем наступил мир.

Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чудному: работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить.

Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком, через горы. Люди они очень похожие друг на друга – аккуратные, добрые, – бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба – садовницей, дядя Вася – рабочим. Они принесли с собой красных яблочек, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблок, то страшно обрадовались такому гостинцу и горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу.

Маня – тетка – белая лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавляли стерлядей и таймененка и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский праздник – рыбными пирогами. Зырянов работал бакенщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто, богатенько. Бабушка недолюбливала Зырянова, звала его только по фамилии, тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена – одна сатана» – скромно повторяла она, но касались эти слова лишь тети Мани и Зырянова, остальных детей бабушка и в супружестве тревожила своими решительными действиями.

Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках – сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы между прочим осмотрела: пеленки чисты ли и не в рубцах ли. Провела рукой по грудке и по пузцу кривонногого мужика. В ответ на это действие молодой сибиряк блаженно потянулся, зажмурился, выдал крепкий звук, отчего все захохотали.

– Вот еще новожитель! – ворковала бабушка. – Нашего полку прибыло! Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебный – па-а-ахарь будет, па-а-ахарь! – И человечешко заулыбался вдруг, молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива ни мертва, заткнула рот и нос платком. Бабушка, и сквозь землю зрящая, прикрикнула:

– Расклеви парня-то!

Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось и, перешибая один другого, вспоминают: то как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась; то как они с Иваном лазили за огурцами к Тимше Верехтину и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресвой; то как укусил Васю уросливый Карька, Вася обозлился и сам Карьку укусил, так после этого Карька лишь Васю к себе и подпускал, больше никого за людей не считал; то как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали; то как зорили птичьи гнезда (дураки же были, ей-Богу!); то как на заимке работали и мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок и парней за нерадивость, возьмется показывать трудовой пример – свяжет снопок-другой натуго и тут же мчится в село либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать, давать указания, но некому этим ответственным делом заниматься.

– А помнишь?

– А помнишь? – слышалось со всех сторон.

И седые мои дядья, тетки смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеваты, конопаты и скуласты. Самые рыжие – Кольча-старший и дядя Ваня, дальше, как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило и пошел цвет пожиже. Кольча-младший вовсе рус, и конопатин на его долю досталось всего ничего – щепотка.

Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом – родня прибывает и прибывает. То и дело слышится присказка: «Скок на крылечко, бряк во колечко – дома ли хозяева?» Соседи, друзья дядей и теток, давно не видевишиеся, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем.

Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия – Фокины, затем – Шахматовы, затем наша – Потылицыны, а затем уже негустая, но отчаянная фамилия – Верехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен и ему зеленые чертики являются. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою – чтобы чертей отогнать, – и таким образом возвращали семье и труду.

Драк в общих гулянках случалось шибко много, так много, что огороды, выходившие на улицу, за зиму бывали разгорожены до основания, жерди и колья потрачены в битвах, как первейшее сподручное орудие.

Но в семейных праздниках гуляли основательно, спокойно и редко кто срывался, если и срывался тот или иной родственник, вспоминавший какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал.

Пожалуй, только Верехтины отличались неумным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в Троицу, и можно было слышать из верехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики: «Караул!», «Мама!», «Пусти меня!» Затем грохал восьмикалиберный дробовик, следом за ним слышался голос кривоногого Тимши Верехтина, самого старшего в родове:

– Пер-ры-стреляю-у-у! Всех уложу-у-у-у!..

Никто в верехтинский переулок в эту пору не совался, хотя узнать хотелось, что и как там? И когда являлся из переулка немой Кирила, родственник Верехтиных, его облепляли женщины и тормозили расспросами. Кирила плакал, и по его носатому, большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди трудягу мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню.

– Па-па – пу-у-ух! – изображал Кирила, как из дробовика палил Тимша. – Мама – ой-ой-ой!.. Я – у-у-у!

И он показывал, как растаскивал братьев, но они порывали на себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится. Кирила отправлялся дальше, неся утробный, протяжный звук, бабенки, что побойчее, приближались к верехтинскому переулку:

– Вот, достукался! Кирила топиться пошел!..

Из-за верехтинского заплота посылали всех подальше. Собирая на груди изодранную кофту, с вечным синяком под глазом, выскакивала из ворот «сама» – Платошиха, спрашивала, в какую сторону ушел Кирила, отбегала на безопасное расстояние и кричала:

– Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стоите! Чтобы вы сегодня же поиздыхали! Чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!..

Улица сочувственно расступалась перед женщиной, наша бабушка, вечно недовольная дедом, мною, детьми, не удержалась и как-то изрекла признание:

– Нет, не скажу худого про своих ребят и про мужа свою. Синяка единого не нашивала. А эт-то чё жа, матушки вы мои, родну мать чуть чего – и в кулаки! Да распоследнее это дело! В сельсовет надо жаловаться. В сельсовете.

– Ага, поди пожалуйся, – поддакивали ей. – Митроха-то чьего корня отросток? То-то и оно-то!

Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и посейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери – иные из них уже и сами деды! – не забывали, кто она и что она. «Робята» охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и гнету не испытывали. попавши под эту, как бы уж и невзаправдашнюю, кратковременную власть.

В сбившемся на ухо платке, бабушка выпорхнула во двор, прервала праздное времяпрепровождение.

– Робята! Мужики! Вы каково же дьявола сидите, табак переводите?

– А чё нам делать-то?

– Как это чё? В ночь поельцовали бы. Я бы вам такое жареву спроворила!..

– Да сети-то где ж?

– Сети? У мамы все есть! Мама все сбережет! – ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай, повторяя громко, чтоб бабушка слышала: «Ну, мама! Ну до чего бережлива! Ну радость нам!..»

Слышно, как бренчали кибася сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, женщины с безнадежностью требовали:

– Рубахи-то чистые хоть бы поскидывали! А тебя уж подхватит! – пеняли они бабушке сердито. – Перетонут ишшо...

Бабушка вознамерилась вступить в спор, по тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы:

– Много вас, не надо ль нас?

– Я-ави-ила-ась, голубушка, я-а-ави-ила-ась! – обрушилась на нее бабушка. – Отчего же не завтра, прямо к столу бы...

Тетка Августа больше всех Потылицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет – мается по чужим углам. Она помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бранит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала – не случилось ли чего с Августой на сплаве, но стоило ей появиться – бабушка в претензию.

– Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое – не бросишь, – уронила с горечью Августа, всем как-то неловко сделалось, и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила:

– Тошно мне, Любанька! – протянула она руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, что-то там сказала, засмеялась – и снова стало весело, дружно в доме.

Минут через десять Августа мчалась уже с подойницей под навес, потом сеяла муку и вся ушла в работу.

Робятня толклась на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой дают сладкий кисель в столовке. Я переводил нашей малой и старой родне Алешкины разговоры. Люди дивовались.

– Ат смышлениш! Ат тебе и безъязыкай! Другому и с языком очки вставит!

– Он еще в шахматы играть научился! – после долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная.

– Чего-о-о?

– Алешка в шахматы играет!

– Вот горе-то! Проиграт с себя и с Гуски все!..

Дядя Вася пояснил бабушке, что такое шахматы. Не карты, мол, это, не очко.

– А-а, – успокоилась бабушка. – Все же не играл бы лучше. Мало ли чего.

Дяди Васина и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, почертила сандалией землю:

– Я штишок жнаю.

– Да ну?! – удивилась бабушка и присела перед балованной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо:

– Ну-ко, ну-ко, милушка, скажи баушке стишок. – И платок с уха сдвинула бабушка, чтоб все расслышать, ничего не пропустить.

Катенька взобралась на крыльцо, будто на сцену. Дядя Вася потребовал тишины, тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею.

Ты, шорока-белобока,
Науси меня летать,
Недалеко, невысоко,
Штабы бабушку видать!

Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски, всю ее исцеловала, а дядя и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней хорошие слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением прочесть выученный в школе стих:

В бою схватились двое:
Чужой солдат и наш...

Но бабушка пустит слезу: «Послушала бы да поглядела мать-то, покойница...», и посмотрит на дядьев и теток, чтоб они тоже мне посочувствовали, заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей – тетки Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего роду станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что обрядили. Половина гостей загорюет, иные отправятся на кладбище реветь...

А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата, но ребятишкам, братанам своим двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх и пуще них глянулись бабушке.

Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей. Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями.

Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры: и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией

уже затопили печь, выкатывали на столе печенюшки, зашпывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выпрашивала:

– Дядя Вася не выпивший поплыл? Не утонут они?

– Любанька! – крикнула из кути бабушка. – Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лежку – не перепутаются. Да сама-то, сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому...

– Да что вы, мама! Я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь.

– Нет уж, нет уж, Любанька, не перечь! Тут мой устав! Худой ли, какой ли, а мой! Штабы без разговору! И што это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на опаре заведешь, эва какие мягкие подымутся! Нонче и на дрожжах чисто рахитные, разъязвило бы их! Может, и удаль не та? Глаз и рука, может, сдали?

Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая заработка на сплаве и скоро ли Зырянову грыжу вырежут?

Вот всегда бы, вечно так согласно и жили бы люди, Дружно. Так нет ведь, бабы и в первую голову старухи, а от них и молодухи отставать не хотят – все чепляют, чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик – это враг кровный и всегда поперек ее дороги лежит.

Вечер, покой благостный в дому, а она, баба, побрякивает да позвякивает посудой, пошвыривает да побрасывает поленья. В постель идет, в горницу, и одежду с себя не сымает – рвет. «Подвинься! – рычит на мужа. – Разлегся, как боров!»

По всем статьям мужик, если он истинный гробовоз, должен бабу шугануть, столкнуть ее с кровати, но он послушно подвигается, пускает жену под одеяло да еще и подтыкает под спину, чтоб теплее и мягче жене было. И она сразу умирится, притихает, старики поскорее уносят лампу в кузь. На кровати вроде бы даже и баловаться начнут, шалить, что дети, смешки, шепотки, мир, лад, согласие...

И уяснил я еще в детстве, пусть не буквально-досконально, пусть не до самого дна, но уяснил, что днем, на свету, на народе люди и живут для народа, для других людей то есть, и к народу они оборачиваются угодным тому обликом, отстраненным, сердитым, готовым к отпору, чтобы с отпором не опоздать, первые и набрасываются на всех, в особенности на тех, кто под рукой, кто поближе, но, оставшись наедине друг с другом, люди становятся сами собой и живут друг для друга, пусть и недолго, ночью лишь, но живут, как велит им сердце, сердце, на то оно и живое сердце, чтоб ему худа не было, оно спокой любит и чтоб хорошо было, злое сердце быстро изнашивается, рвется, словно на гвоздях, истирается, будто колесо о худую дорогу, оно и воистину не камень, хотя и камень поточи, подолби, так рассыплется.

Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стряпни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка.

– Ребятишки, вы не спите? – шепотом спросила.

– Не-э.

– А чтоб вам пусто было! Натя вот первеньких! Да легче, легче, горячие! Малых-то поразбудите. Любанька, отведай и ты, милая моя!

– Спасибо, мама! Ох, какая горячая!

– Ешь, ешь! – Бабушка присела на минутку к тете Любе. – Как живете-то с Васильем? Ладно ли?

– Ничего живем, не скандалим.

– И слава Богу, и слава Богу! Он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница... – Бабушка замолкла, потянула носом: – Тошно мне! Заговорила! Девки, пятнай их,

недосмотрят, завернут башку-то!.. – Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей.

Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже проспала, отчего угром конфузилась, дядя Вася подразнивал ее, страдая: в следующий раз с ельцовкой уплывет до города и такую там стерлядь заловит!..

– Будет болтать-то, будет! – крикнула из кладовки бабушка и протяжно, с подвывом зевнула. – Чего зарыбачили? Два тайменя: один с вошь, другой помене? – Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась: – Гляди-ко, попалося!

– На твоего ангела закидывали, мама!

– Ничего ангел-то, рыбистай! – согласилась бабушка и приказала дяде Васе: – Не мылся коло Любы-то, не мылся, ступай с мужиками на сеновал, поспи. Ночь-то пробулькались и с первой рюмки под стол уйдете – с родней видеться... Тебе, Любанька, наказ: всю гвардию накормить и удозорить, чтоб ни один в реку не упал и никуда не делся! Гуска, Апронька, Марея! Хватит дрыхнуть! Вставайте! Экие кобылищи! Солнце на обед.

– Вот ведь нечистый дух! – заворчала в кладовке тетка Мария. – Поднимется ни свет ни заря и никому спать не дает.

Ей чё! Ей дай покомандовать! – поддакнула Апроня.

– Генерал! – вставила Августа.

Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомыником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, вялость слетает с них, мятые лица разглаживаются.

К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немисливо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Мария. Апроня же и Августа – просмешницы, зубоскалки, хватает их серьезности ненадолго.

Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую и напевно, с плохо скрытым волнением стали приглашать гостей:

– Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал.

А дед сам себе в бороду:

– Проходите, будьте ласковы, проходите!..

Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз уж коренный бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет, и слова на них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но бабушка бдила – и дед усмыгнуть к столу не решался.

После шутильной возни, короткой, шумной междоусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось большое семейство – взрослые за двумя столами, дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой – от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места – дедушки и бабушки.

Стол накрыт по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотой, большим старанием и умением.

Студень – гордость стряпух, чуть только жирком подернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в горнице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно

улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи ельцы. Они не пересохшие, но поджаренные так, что есть их можно с головой – только похрумкивают. Перцу в них, листа лаврового впору, жиров к ним не добавляют – что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог из таймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги делают по величине рыбы – какая рыба, такой и пирог, лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат.

Шаньги, печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из теста нажаренные!..

Все горой, всего много, все со стола валится. Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели, томительно ждали. Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то и определился под божницу, на свое место.

– Вечно выламывается!

Поднялись Кольча-старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул:

– Мама, тебе почет и место!

Бабушка знала, как трудно даются речи этим пятидесятилетним робятам, и на большее не рассчитывала.

Скромно так, застенчиво она опустила глаза и дрогнула губами.

– Спасибо, дети мои, спасибо за уважение.

Мимоходом она сразила деда взглядом за то, что нарушает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх-вниз, вверх-вниз.

Это еще не все, далеко не все. Бабушка повернулась к божнице, однако позицию выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было. И начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со звоном, зашикали друг на дружку, взрослые пере-крестились на образа, малыши и я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам не сказала, поскольку тут все больше школьники.

Бабушка на месте. Ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам, тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничной настойки. Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан, негромко, стеснительно призвал:

– Ну, робята, со свиданьем, за здоровье старухи!

Он первым ударил стаканом о бабушкину рюмку. Над столом стеклянный звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. В горницу неслышно, робко втиснулся дядя Митрий, тот самый человек, о которых принято говорить: в семье не без урода. Дядя Митрий – бабушкино страдание, он горький пьяница. Незаметно ото всех бабушка переодела дядю Митрия в чистую дедушкину рубаху и штаны. Дядя Митрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен. Дядя Митрий наскоро умыт и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками.

Дедушка ногой пододвинул к столу табуретку, бабушка поправила на груди кружевной шелковый платок и с вызовом обвела взглядом застолье: «И позвала! Вы как хотите, а я позвала!»

Татьяны, жены дяди Митрия, нет. Она к нам не ходит. Опять же из-за бабушки. Татьяна – пролетарья, по выражению бабушки, она активист и организатор колхоза. Все время заседает.

Муж и дети ее до того запущены, что видеть это бабушка не может и срамит невестку везде и всюду, подрывает ее авторитет. Однажды бабушку каким-то ветром занесло в клуб, где шло собрание и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что достаток людей в нашем селе определялся по-чуждому. Считалось, например, если у бабы нет штанов, то уж распоследняя это, никудышняя баба, и грош ей цена!

В середине речи бабушка прервала ораторшу:

– Хорошо высказываешься, Татьяна! А вот штаны-то есь ли на тебе?

Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знается с нею и в доме нашем не бывает.

Дядя Митрий определился в стороне, на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение:

– Ну, подняли, подняли! Рука-то не казенная! Мама, за твое здоровье! Тятя, с именинницей тебя! – и бабушка поощрила деда;

– Пей по всей да привечай гостей!

Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и, пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть, совестясь друг дружки, они принялись за дело: потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.

Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда, хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, вскорости ребятишек спросили, наелись ли, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, приставку убрали, чтоб в горнице посвободней было.

Бабушкин праздник начался!

Мы залезли на полати, оттуда все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху.

В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке-активистке, она стучала вилкой по пустой четверти:

– Мужичье! Тих-ха! Мама, заводи!

– Да где уж мне, девки? Обезголосела я.

– Помогнем!

– Ну уж, ладно уж, будь по-вашему, – смягчилась бабушка, голос у нее такой, будто она век всем уступала:

Тее-че-от ре-е-еченька-а-а-а...

Те-ече-т бы-ы-ыстрая-а-а-а...

Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженней становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь густела и останавливалась в жилах.

Он, да как по то-о-ой

По реке-е-е-е...

Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, под-

няли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.

Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все уверенней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтобы все пришлось им впору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет уж никогда.

Вот и слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августиному, по тети Мариинному. Дядя Митрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом, сотрясался весь, ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его подсказывал хомутом.

Бабушка хоть и плакала, но не губила песню, вела ее дальше к концу, и, когда звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова «Реченьки» и повторились эхом над Енисеем-рекой, над темными утесами, в нашей избе началось повальное целование, объяснения в вечной любви, заглушаемые шмыганьем потылицыных носов, зацепившись за которые и большой ветер остановится и про которые, хвалясь, говорят: пусть небогаты, зато носы горбаты!

– Мама! Мамо-о-онька-а-а!

– А где тятя-то? Тятя-то где? Тя-а-атенька-а-а!..

– Брат ведь ты нам, бра-ат! – обнимали все подряд дядю Митрия.

Он согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия.

Я тоже плачу, затаившись в уголке, но негромко плачу, для себя, утираю со своего, тоже потылицынского, носа кулаком слезы.

В какой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Мишка Коршуков – напарник дяди Левонтия по бадогам и сам дядя Левонтий, – объяснить невозможно. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.

– Как у нашего соседа развеселая беседа! – приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. – Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! Тарабах!

А Мишка Коршуков, вытаращив глаза, коротко доложил:

– Где блины – тут и мы!

– Левонтий! Мишка! Едрит-твою! А ну, сыграй!

– Дай обопнуться людям! – остановила бабушка заседающих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу, налила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа – не тара – наперсток.

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой.

– С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьем!

– Кушайте, гости, кушайте, дорогие!

Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.

– Гостю – воля, имениннику – почет!

Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно, будто бадogi кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало.

– Хороша советка власть, да горьковата! – возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.

Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:

– Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! – и поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.

Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот пошла она, музыка! Мишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немисли-

мым кренделем. Оттуда, из заплатного этого кренделя, чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху непросто.

Мишка дал направление:

Раз полоску Маша жала,
За-ла-ты снопы вязала-а-а-а,
Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а...

И все радостно подхватили:

Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а...

Сделав начин, Мишка наяживал, подпрыгивал на скамейке, будто на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой, он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песельники справятся и без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту.

– Ты бы закусил, Мишка! – предлагала бабушка, но гармонист мотал головой; погоди, некогда. Августа поднесла ему кружок огурца на вилке. Он снял его губами, подмигнул Августе, она ему – и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравшись, что к чему, пели:

Мо-о-лода-ая-а-а-а... —

бабенки тряслись вокруг стола под «Барыню», выплескивались из горницы в простор средней. Гармошка со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дырявых мехов отчаянную плясовую.

Гулянка вошла в самый накал; народ распался от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба-скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боялся вынуть руки из-под стола, потому что грязны они, покорябаны, да как бы и не схватили сами собой стакан.

Объявилась тетка Васеня, суровым взглядом сразила она мужа, дескать, затесался, не обошлось без тебя. Дядя Левонтий, на крепком уже взводе, возгласил:

– А вот и жена моя, Васеня, Василиса Семеновна! Хар-роший человек! Ну, чё ты, чё ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой! Еще свой-то какой! Правда, тетка Катерина? – за этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась:

– Задавил, ой задавил, нечистый дух! Эко силищи-то! Вот бы на работу ее истратить...

– Л-люблю потылицыньских! Пуще всякой родни! Из всего села выделяю!..

Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Она для приличия церемонилась, двинула локтем в бок мужа. Он дурашливо ойкнул, подскочил. Все захохотали. Засмеялась и Васеня.

– Хочешь быть сыта – садись подле хозяйки. Хочешь быть пьяна – трись ближе к хозяину! – советовали Васене, на что она оживленно отозвалась:

– А я у обох!..

А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо, нещадно, и, дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем.

– Што ж, гости дорогие! Хоть и много выпито, но опричь хлеба святого да вина клятого все приедливо, стальной, ошарашим еще по единой!

– Да-а, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумленью. До голодного года скажи садить резаную картошку – изматерились бы, исплевались.

– И не говори, сват. Темнота наша.

– А назем взять? Морговали?

– Я первая диковала: «Овощ с дерьмом ись не буду!»

– Во-от! А нышло: клади назем густо, в анбаре не будет пусто!

– И не зря, сват, не зря самоходы сказывают – добрая земля девять лет назем помнит...

– Тятя. закури городскую.

– Не в коня корм, Вася. Кашляю я с паперес. Ну да одну изведу, пожалуй.

– Я ему шешнадцать, а он – десять! Я шешнадцать! Он десять! – рубил кулаком Кольча-старший.

– На чем сошлись?

– На двенадцати.

– Вот тут и поторгуй! Жизнь пошла, так ее!

– Н-на-а, лихо не лежит тихо, либо валится, либо катится, либо по власам рассыпается...

– ...И завались сохатый в берлогу! – рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как прирос к сплавному пикету. – А он, хозяин-то, и всплыл оттуда! Я тресь из левого ствола! Идет! Тр-ресь из правого! Идет!

– Иде-от?

– Идет! Вся пасть в кровище, а он идет. Цап-царап за патронташ – там ни одного патрона!

Вывалились, когда сохатого гнал...

– Биллитристика все это! – ехидно заметил грамотей Зырянов. – Со-чи-ни-тельство!

– Вякай больше! Чё ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей и не мыкал...

Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней – сцепятся за грудки, чего доброго...

– Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать! Норму.

– И только поп за порог – клад искать, – а русский солдат шу-урх к пападье-еэ под оде-яло-о-о!.. – напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.

– Руки зачем суешь куда не следует? Убери! Вон она, мама-то... Все зрит!

– Вот рыба таймень, так? – уминал пирог и спрашивал у близидящих бабенок дядя Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что-де где кисель, тут он и сел, где пирог, тут и лег. – Я когда моряком ходил, спрута жареного ел!

– Каво-о-о?

– Спрута! Чуда такая морская есть – змей не змей: голова одна, хвостов много. Скусная, гада, спасу нет!

– Тьфу, страмина! – плевались бабы. – И как токо Васенья с тобой цалуется?

– Кто про чё, а вшивый все про баню! – махнул Левонтий.

– Такого заливалы ишшо не бывало! – смеялись и трясли головами гости.

– И што за девки пошли! Твои-то мокрошшэлки закидали тебя ребятишками, закидали!

Распустила ты их, Авдотья, ой распустила!

– Дакыть и мы не анделицами росли, Марейя. Нас рано замуж выталкивали. Тем и спасались... Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?

Тонкий голос тетке Авдотьи накрыл и, точно пирог, разрезал разговоры:

Люби меня, детка, покуль я на воле,

Покуль я на воле – я твой.

Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,

Тобой завладеет другой...

Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл.

Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамках задребезжали, качнулся табачный дым, и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откатнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подтрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков.

Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья оттого, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.

Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор.

Все было хорошо, но когда накатили слова:

Я – вор! Я – бандит! Я преступник всего мира!

Я – вор! Меня трудно любить... —

дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плавал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме, ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжанцев, всякого разного люду с запуганной биографией допона водилось в нашем селе, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку «рестантом».

– Да будет тебе, будет! – увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. – Ну, мало ли чё? Отсидел и отсидел, больше не попадайся...

Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил:

– Что такое жисть?

– Тошно мне! С Левонтием начинается! – всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.

– Левонтий! Левонтий! – как глухому, кричали со всех сторон. – Уймись! Ты чего это? Компания ведь!

Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы.

– Нет, я вас спрашиваю – что такое жисть? – повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу.

– Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, што тако жисть, – спокойно заявил Ксенофонт.

– Меня-а? Вожжами?

– Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! – трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. – Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ить исправился!..

– С... я на вашего учителя! Меня могила исправит! Одна могила горькая!

Дядя Левонтий залился слезами пуше прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже неробкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в передней, под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щепье, тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в пего пальцем, высказывалась:

– Вот! Вот, рестант бесстыжой! Тут твое место! Какая жизнь с тобой, фулюганом, пушшай люди посмотрят...

На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше. О дяде Левонтии забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту.

В то время, когда угомоняли дядю Левонтия и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием. все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке.

– На, выпей, не майся!..

Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол.

– Да поешь, поешь...

Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого, покорного, увела и спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведлась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, она мучилась. Бабушка потерла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок, подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям.

Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись?..» Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать.

Гуляки спали тяжело, с храпом, сгонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами.

Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бясь о притолоку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бухая половицами, мчался во двор.

И почти до петухов, гнусава, бродила по деревне гармошка – завелся, разгулялся неугомонный человек – Мишка Коршуков, будоражил спящее село.

Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себя за ногу. И он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, на утре сиплым голосом позвал:

– Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!

Мигом я оказался у скамьи. Слабо постанывая, дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой.

– Развяжи меня, брат...

Узлы дядя Левонтии стянул, я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел, подавая мне советы. Встал наконец, шатнувшись, сел на скамью.

– Я чего-то наделал?

– Не успел. Связали тебя.

– Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь? Башка прямо разваливается...

Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и приложил палец ко рту:

– Ш-ша! Я пош-шел!.. Бабушке Катерине не рассказывай...

– Ладно, ладно.

Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнул лбом в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил:

– Ш-ша! Вахта спит!..

Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик, напал на дядю Левонтия.

– Шаря! Шаря! – подал голос дядя Левонтии. – Ш-ша, брат! Тих-ха!

Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертела в руках пустой стакан.

– Это кто же его развязал, Левонтия-то?

Я пожал плечами, не знаю, мол.

– Вовремя, вовремя умотал соседку! Я бы ему задала! Я б его пропесочила!..

Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка жалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка Васенька остынет и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах.

Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах к Майскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Талиной родне, к шахматовским; другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным.

Но распал нашей гулянки не остывал совсем, еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом доме.

В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье, какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла поды, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных делах и заботах.

Праздник кончился.

И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний.

В том же году не стало дяди Митрия, он поместился в одной оgrade с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта-рыбака, покоятся там дедушка, бабушка, тетя Мария, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольчи-младшего Лидочка и малый его сынок Володенька.

Старые и малые – все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии – «там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная»...

Книга вторая

Гори, гори ясно

Таково ли свойство детства, что оно кажется сплошной игрой, или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не хватало дня и мы прихватывали вечера, порой и ночи. Матери принимались искать сорванцов по улицам, заулкам, дворам, а находили их за околицей деревни либо на берегу Енисея и прутом загоняли домой.

Их было много, тех далеких деревенских игр. И все они, будь то игра в бабки, в чижа, в солону, в лапту, в городки, в свайку, в прятки – требовали силы, ловкости, терпения. Существовали игры совсем уж суровые, как бы испытующие вступающего в жизнь человека на крепость, стойкость, излом; литературно выражаясь, игры были предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть необожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предвещающим.

И поныне, когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, обмирает нутро от знобюще-восторженного предчувствия победы, которая непременно следовала, если не следовала, то ожидалась в конце всякой игры.

Хотелось бы начать с игры в лапту, но я переступлю через «личную заинтересованность» и затею рассказ с игры давней, распространенной в старину во всех русских деревнях и самой ранней в году – с игры в бабки.

Сражения разгорались с первооттепели, с Пасхи. Пасха каждый год бывает в разные сроки, то ранней, то поздней весной, но есть тут причина для игры самоглавнейшая – к празднику забивалось много скота, варились корыта, ушаты, колоды, тазы студня. Ребятам приваливала долгожданная утеха – пареные кости ног, среди которых природа поместила бабки – панка и рюшку.

Как готовят студень – рассказывать нет места, сообщу, однако, – это с виду нехитрое блюдо мало кому дается, ныне, по женской лености и занятости, редко и готовится – уж больно велика возня и канитель со студнем. В столовых же его готовят по присловью: «Мяса чан – вкуса нет».

К слову молвить: и в прежние времена студень получался не во всякой семье. Тетке Васене, сколь помнится, так ни разу и не довелось завершить производство кушанья, довести его «до ума». Она металась по избе, роняла ухваты, опрокидывала чугуны с картошкой, ведра с водой и, делая вид, что всю поруху не она натворила, тут же чинила суд и расправу, раздавая налево и направо затрешины своему выводку.

Пение, рев, слезы, воинственные выкрики раздавались в избе дяди Левонтия с утра до поздней ночи, и случалось: в одном углу просторной, пустой и душной избы ревмя ревел ушибленный, ошпаренный либо побитый теткой Васеней боец, в другом в это время, что-то пластая ножами или руша топором, парни с уже выступившими на лице прыщами, ни на что не обращающая внимания, блажили: «Мы с матаней мылись в бане...»

На бегу, на скаку тетка Васенья палила в печи ноги или голову скотины. Выхватив чадящую ногу с углем в раскопытье, она мчалась с нею к столу, распространяя по избе синий смрад. Швыряя носом, подбирая запястьем капли пота со лба, слипшиеся волосы с глаз, она шустро скоблила ножиком паленину, гремя ею по столу, постанывая, приплясывая. Руки тетке Васене жгло, дых забивало гарью. Надо бы в горячую воду сунуть паленую ногу, ошпарить, смягчить ее и спокойно, с толком, тоненько обснимать варом прикипелую к шкуре шерсть, снять нагар, роговицу с копыт и, чистенькую, желтенькую, неторопливо, чтоб не расщепать кости, порубить топором да и поставить, с Богом, варить. Но как с такой ордой технологию соблюдешь? Вот

только что был таз с водою, хватъ-похватъ – его уж нету – в нем Танька чечу – куклу, стало быть, вытесанную братанами из полена, моет. У куклы той и пуп, и все обозначено, не кукла – хулиганство форменное, но Танька и такой забаве рада, тетешкает чечу, в тряпицы обряжает, мыть вот взялась.

– Пропасти на вас нету!

Таньку за волосы в угол, под лавку, Васеня кинула, кособокую куклу за единственную ногу – в печь. Танька кошкой метнулась из-под лавки, героически выхватила игрушку из загнеты, полыхающей горой угольев. Дымится кукла, Танька на нее плюет, слюной тушит и причитает:

– Дуня ты моя, Дуня! Больно-то тебе, больно! Лечить-то тебя надо, лечить... – И матери: – Самуе бы в печку шурунуть, дак хорошо?..

– Шурунуть, шурунуть! – базлает на весь дом тетка Васеня. – Я вот в праздник шуруну пусту чашку на стол!.. – И, орудуя ножом, обмакивая в таз где обожженную в уголь, где недо-скобленную паленину, увоженная в саже, растрепанная, угорелая возле печи Васеня продолжает кричать о том, что праздник на носу, а у нее еще не у шубы рукав, и «арестанец» – дядя Левонтий, явится на развязях, потому как на известковом сегодня получка. Да и явится ли? Тресь по уху бесштанному парняге – понадобилось ему что-то в тазу, он залез туда рукой, Васеня отвлеклась, в ругани забылась и чуть было палец ножом ему не отхватила... Паленина не доскоблена, печь пора закрывать – жар уйдет, тут перевязывай дитятю, сама порезала, сама и врачуй!..

– Да тошно мне, тошнехонько! – толсто обматывая тряпицей палец громко басившему орлу, завывала тетка Васеня, озираясь на печку, на разваленную по полу и по столу посуду, на черные ноги в недопаленной шерсти, одну из которых уже уволокли со стола, обрезали подгорелые шматки и, валяя во рту, поедали помощники, которые посмекалистей. Не закончив перевязки, Васеня всплеснула руками, бросилась к парням, они от нее наутек, едва настигла и, отняв ногу, замахнулась его, как булавой, но опомнилась – зашибет! – и от бессилия, от сознания, что ей опять не справиться с задачей, не соблюсти порядок, не изготovitься к празднику, как хотелось и мечталось, она упала на лавку, отрешилась от всякого дела, мол, как хотите, хоть пропадите все, и намаливала себе смерти – единственно мыслимого избавления от семейных напастей.

Но умереть ей не было времени. Порезанный боец тянул к ней раненую руку, и тетка Васеня доводила перевязку до конца и, заключая лечение, отвешивала еще одну оплеуху болящему и бросалась к печи, стараясь наверстать упущенное время, снова суежилась по избе, опрокидывала чугуны, роняла ухваты и орала, орала, орала, да так, под собственный ор и всеобщий погром управлялась с делом и недоверчиво, потерянно озиравшись вокруг, ровно и не веря самой себе, что все дела на сегодня окончены.

Ночью, забивая дремучие, густо сплетенные запахи многодетного жилища, по избе расплывался дух прелого мяса, подгорелой шерсти и мреющих костей.

Заслышав крик бабушкиного красного петуха, зевая и неумело, как бы понарошке крестясь, стараясь не греметь заслонкой, тетка Васеня хватом выдвигала на шесток объемистые чугуны, плотно закрытые сковородами, ладясь в безлюдном покое справиться бабью работу, обобрать мясо с костей, изрубить его с луком, с чесноком, вывалить в корыто и поверху осторожно залить крошево жирной запашистой жижей да и выставить на остужение, чтобы потом, когда захряснет студень – отрада души, накормить им семейство, угостить соседушку, Катерину Петровну, деда Илью и чтобы они ее похвалили за труд и ловкие руки.

Но любящие вытягиваться до обеда, отыскивающие в себе недуги и всякие причины, только чтоб не полоть огород, не пилить дрова, чтоб отлынить от всякого дела, пролетарьи дяди Левонтия не проспали ни одного утра, в которое мать собиралась творить таинство в кути. Когда наступала пора опрастывать чугуны, по обе стороны стола выстраивались в две шеренги,

почесываясь и зевая, поталкивая друг дружку, орлы, ждали свой миг. И как только мать вываливала сваренные кости в корыто, почти на лету выхватывали кто чего успевал, имея целью добыть бабку. Варёво так горячо и жирно, что даже не парило. Любой и каждый обварился бы, ожог получил, но обитателей этого дома ни пламя, ни вода не брали. Они обхватывали горячую кость губами, с треском отдирали с нее зубами хрящи, и кому попадалась бабка, да еще панок, тот издавал вопль:

– Чур, мой! Чур, мой! Паночек! Паночек! Крепенький пенечек! – и пускался в пляс: – Бабки-бубны, люди умны...

И что интересно: чаще всего бабки подпаливали не тем, кто больше всего зарился на них, не парням, а девкам. Особенно везло Таньке. Она принималась дразнить братьев бабкою или торговаться с ними. Дело заканчивалось свалкой. Надеясь сохранить хоть остатки варёва, тетка Васенья наваливалась на корыто, охватывала его, загораживала собою и, поскольку третьей руки у нее не было, чтоб обороняться и давать оплеухи, вопила:

– Матушка, Заступница Пресвятая! Помилуй и сохрани! Расташут, злодеи! Расхлещут!..

На всех сердитая, удрученная, приносила потом тетка Васенья корыто и, не желая даже пачкать чашки кисельно колеблющейся жижей, протестуя швыряя носом, стучала посудинной о стол: «Жрите!»

Никто не выражал никакого недовольства и досады. Семейство во главе с дядей Левонтием бралось за ложки, отламывало по куску хлеба и вперебой возило жижу, которая в ложках не держалась, высклизала, шлепалась на стол, и тогда едок нагибался, со смачным чмоком втягивал губами вкуснятину. крякал от удовольствия и продолжал дружную работу. Лишь долгоязыкая, шустро насытившаяся Танька пускалась в праздные рассуждения:

– Бабушка Катерина на святой неделе меня шаньгой, калачом и штуднем угощала, дак у ей штудень хушь ножом решь...

– А кто хватат?! Кто хватат?! – взвизывалась тетка Васенья, выскакивая из кути. – Витька хватат? Дед Илья хватат? – и, подвывая, высказывалась: – Мне бы условия создать, дак рази б я не сумела сготовить по-человечески-и-и.

Рубанув ложкой по лбу шебуршливую дочь, дядя Левонтий, пропивший половину получки и дождавшийся момента, чтобы выслужиться перед женой, говорил с солидным хозяйским достоинством:

– Ну вот, сыт покуда, съел полпуда. Студень как студень. Очень даже питательный, – и подмигивал: – Правду я говорю, матросы?

– Ску-у-уснай!

– Сталыть, порядок на корабле! Иди, мать, и кушай! Рот болит, а брюхо ись велит... Тут ишшо на дне осталось, поскреби...

И тетка Васенья – слабая душа, утирая фартуком глаза и нос, прилеплялась бочком к столу. Ей подсовывали ложку, хлеб, будто чужой, и она, тоже, словно чужая, вежливо поцарапывала в корыте, щипала хлебца, но уже через минуту-другую снова брала руль над командой и первым делом выдворяла из-за стола Саньку, который, нахватавшись студня, «бродил» ложкой в корыте, и тут же Васенья прыскала, узрев набухающую шишку на лбу дочери:

– Это тебе благословенье к Паске!

– Премия за долгий язык! – благодушно поправлял супругу дядя Левонтий.

Семейство прокатывалось об Танькиной шишке, и она, показав язык, убежала на улицу, а совсем уж отмякшая мать дразнила парнишек:

– Я ишшо три бабочки заудила в чигунке! Две рюшечки да паночка! И кто мать будет слушаться, тот бабочки получит...

Парни единодушно сулились слушаться мать до скончания дней своих, таскались за нею по пятам, ныли:

– Мам, я дрова принес и ишшо сор от крыльца отгребал. Мне отдай!..

- Мам, ему не отдавай! Это я отгребал, он токо баловался.
- Мам, я те ишшо картошек в подполье нагребу.
- Мам, я по воду схожу? На... Анисей аж.
- Мам!.. Мам!.. Мам!..

Дело кончалось тем, что тетка Васеня, плюнув, вытряхивала из фартука бабки:

- Громом вас разрази!

Снова начиналась свалка. Бабками, как водится, овладевал Санька, который ни в каком труде не участвовал, перед матерью не финтил, но умел улавливать свой миг. Но в общем и целом вся праздничная маета заканчивалась полным успокоением, дом наших соседей, набитый до отказа народом, будто пароход пассажирами, клубя дым трубой, с воем, шумом, криками пер без остановок дальше, в будущее, и капитан – дядя Левонтий, хозяйски озревая родную «команду», горделиво отмечал: «На корабле полный порядок!»

Вразвалку, со жвачкой во рту, Санька являлся ко мне и встряхивал брюхом – под оттопыренной рубахой негромко побрякивало. Бабки у него всегда в лохмотьях неотопрелых хрящей, и Санька, когда скучно, доставал костяшку из-под рубахи, обрабатывал ее зубами, выгрызая пленку из раздвоенной головки панка или из уха, в дырке которого маслянела хрящевина, но зачистить до лохматочка бабки не мог даже такой зубастый прожора, как Санька, и потому, когда мы играли на первых проталинах в кон или в сшибалку, его сырые рюхи и панки скорее всего делались грязными и, случалось, шли в полцены.

Как успела заявить на свою голову Танька левонтьевская, в приготовлении студня бабушка моя, Катерина Петровна, была большим спецом. И немудрено: на такую семьющу варивала! Кости в студне у нее никогда не перепревали, но и сырыми их бабушка не вынимала, потому и бабки являлись свету голые, крепенькие, ничего в них не отскакивало. Дед за долгую жизнь так натерел рубить скотские ноги, что ни одной бабки топором не повреждал.

В доме нашем остался один игрок – я, и мне бабок доставалось изрядно. Однако был я в игре не в меру горяч, азартен, долго не мог запомнить, что выигрыш с проигрышем в одних санях ездят, жульничать наловчился не сразу и потому продувался в пух и прах.

Кто был искусник насчет бабок, так это наш Кеша. Каждую бабку он красил чернилами, разведенными из химического карандаша, или розовой краской, которой целая бутылка когда-то и зачем-то попала в дом дяди Вани. Ставши с возрастом смекалистей, Кеша наловчился красить бабки в два цвета – в фиолетовый и розовый. Кроме того, Кеша просверливал у панков донца и заливал их свинцом. Такие панки-биты шли за десять, а то и за двадцать бабок, потому как выбирался для заливки панок самый крупный и стойкий.

Зимой Кеша мастерил из ивовых прутьев и из черемухи сани, гнул дуги, шил сыромятные шлеи, хомуты и, разукрасив упряжь все в те же два цвета, полосками или сплошняком, запрягал «рысаков» в тройки, «рабочих лошадей» по одной и прицеплял к саням за оброть молодых, «необъезженных жеребчиков» – свиные или бараньи бабки. Тройка-панок под дугой, ноздри у него красные, челка-лоб фиолетовый, холки пестрые. По бокам рюшки-хрюшки или паночки поменьше корпусом. Мчит по полу тройка, и я, не владеющий никаким ремеслом, бегаю сзади – в мою обязанность входит кричать: «Й-е-го-го!»

Как жалко бывало мне Кешины бабки, когда, явившись на поляну, ставил он их одну за другой и... проигрывал. Чаще всего мы собирались у платоновского заплота или возле мангазины, потому как здесь раньше обнажались проталины. Обутые и одетые кто во что, несколько подотвыкшие друг от друга, с беленькими, еще не бывавшими в битвах бабками в карманах и под рубахами, ребята поначалу обнюхивались, показывая – у кого сколько бабок накопилось, затем, для разгону, катали рюшки по вытаявшей травке, и которая рюшка, столкнувшись с другой, беспомощно опрокидывалась плоским брюшком вверх, становилась добычей хозяина бабки, взявшей верх. Рюха не каждый раз падала, как ей полагалось, случалось, она валилась

набок, становилась на попа. когда и на голову в мочально спутанной, прелой прошлогодней траве. Вспыхивали споры, пока еще разрозненные, вялые, в драку не переходящие.

Но вот кто-нибудь из боевых, чаще всего самых неимущих парнишек ставил пару рюшек, сзади них кавалером пристраивался панок.

– А вот бабки! А вот кон! Тут напарничек нужен! – зазывал зачинщик кона, ровно бы ни к кому не обращаясь, в то же время всех будоража своим боевым кличем.

Напарничек-подставничек знает, как себя вести. Он потрется возле кона, помнется, поставит пару рюх и царапает затылок, соображает, ждет, а ты переживай: бабочки новенькие, беленькие, ни разу еще на кон не ставленные, не битые, не колотые, вот они, под рубахой, брюхо надуешь или тряхнешься – и заговорили, заворочались, телом твоим согретые, родимые тебе, живые, а на кон их выставишь, так неизвестно, что с ними будет, могут к тебе и не вернуться. Хлестанет оголец-удалец панком, весь кон свалит, никому и ударить больше не достанется...

Однако ж зачем-то они, бабки-то, существуют? Вставил их Боженька или еще кто скотине в ноги, люди придумали студень варить, чтоб эти бабки ослобонялись и к парнишкам попадали. Без пользы и умысла до последних времен никакая кость никому и никуда не засовывалась. Которая для еды, которая для сугреву и улучшения хода, которая и для потехи. Взять ту же бабку. Она только с виду бабка, но всмотришься в нее – и узрешь лик, подобный человеческому. Рюшки повяжи платочком – точь-в-точь старушки, панок – молодец! У иного вроде и картуз набекрень. В игру идет не всякая бабка. Огромной, сплюсненной конской бабкой тешатся только распоследние люди, недоумки и косопузая малышня, еще ничего в жизни и в игре не смыслящая, капиталу своего не нажившая. Козьи, овечьи и пороссячи бабки тоже в кон не идут – мелкие, да и перепревают они в печах, ими зуб крепить хорошо, схрумкать, как сахар – и вся недолга!

В ход и оборот идут бабки только от коров, нетелей и бычков. Но и тут не всякая бабка в кон. Есть бабки, при разделе поврежденные топором, у иной половина головы отхвачена либо рыло, у которой жопка отопрела – изъян особенно серьезный. Есть бабки убогие, косорылые – они такими вместе со скотиной уродились. Словом, среди бабок тоже бывают калеки, уроды, недоделки, они мало чего и стоят.

В нашем селе кости вывозились на огороды и поля – для удобрения. Жирна, смолиста земля в наших местах, и ее надобно сдабривать золой, костями, известкой. Весной бабки, словно солдатики, выскакивали из-под плуга в борозду. Нам их собирать запрещалось, может, кость от больного, дохлого скота? Но мы нарушали запрет, и никто ни разу, помнится, не заразился от бабок, не захворал. Должно быть, пройдя «сквозь землю», бабка очищалась от всякой скверны. Попадались бабки еще ничего, но больше – иссушенные тьмой, подернутые той мертвой, бескровной белизной, за которой наступает тлен. По таким завезут разок-другой панком – башка долой, либо спину проломают, а то и в дым расшибут. Дырявые, увеченные бабки отдаются малышам, и те уж добивают их, навсегда разлучая с белым светом. Глянешь: лежит одноухая башка рюхи либо напололам перешибленный, чаще вдоль треснутый панок валяется под заплотом, и земля вбирает в себя сведенную со света бабку, опутывает ее травой, корнями жалицы – была бабка, играли ею, тешились – и вот ее нету.

Итак, потихоньку, полегоньку начиналась игра. Всяк норовил сперва сунуть в кон бабку заслуженную, увеченную в битвах, со сколком на башке, с трещиной от уха до уха, с выбоиной, которую, поплевав на ладонь, игрок загодя замазывал воском или жиром со щей. Но не один он такой тут хитрый. Тут все жохи – и зачинатель кона повелительно вышвыривал бабку с изъяном из строя – торопись, подбирай – шакалье кругом. Глазом не успеешь моргнуть – умыкнул.

– Йи-э-э-эх! Была не была! – Вынаю две пары рюшек и пару панков. Такой я человек рисковый. Кеша жметя со своим крашеным богатством, рот у него от напряжения открылся, рука в кармане щупает, перебирает бабочки, пальцами их гладит.

– Ставь!

Братан жалостно лупит глаза, молит не искушать.

– Я потом, – переступает с ноги на ногу Кеша. – Куда торопиться-то?..

Мне легче, когда не один ставлю бабки и продуюсь не один, всей-то роднёю храбрей вступить в сражение.

– Иди тогда с мультками играй, в гнилушки! Не выдержав моего ехидства и напора, слабодушный Кеша, сопя и чуть не плача, долго шарился в кармане и, словно живых птенцов, нес в ладонях к концу крашенные бабки. Парни хоть и оторвы сплошь, однако на первых порах блюли справедливость – ставили Кешины бабки впереди кона и молча постановляли – бить Кеше первому.

Кеша отходил от заплота к месту, с которого назначено бить – там лежал камень, шапка или поясок, и, отставив левую ногу, зашурив левый глаз, взявши панок указательным пальцем за раздвоенную головку, большим – под донышко, долго, сосредоточенно целился. Лоб у Кешы делался бледным, исходил мокротью, будто резаная брюква соком, рот от напряжения искривлялся, почти доставая губой ухо. Публика цепенела. И тут из толпы явственно слышался туюй шепот:

– В огород, за заплот, в темну баню за полук, в гжучу жалицу – крапиву, на осьмининскую гриву! Заговор мой верный, я – человек скверный...

Кеша в изнеможении опускал руку:

– Чё заколновываете-то?

Испутив из грудей спертый дух, народ немедленно отыскивал колдуна – они у нас все наперечет. Из толпы выхвачен Микешка – сын ворожеи и пьяницы Тришихи. В мохнатой драгой шубейке, надетой на ребристое тело, полы и рукава подшиты грязным мехом наружу, нестриженный, золотухой обметанный, в рассеченной губе клык светится, шеи нету, голова растет прямо из шубы – чем не колдун! И как ни стерегись, как ни отрещивайся, – проникает ведь, затешется в игру нечистая сила! Микешкины рюхи с кона долой, сам колдун получил поджопника и с позором изгнан подальше от платоновского заплота – не озевай!

Однако ж зараза есть зараза! Отбежавши на безопасное расстояние, Микеша продолжал злодействовать, накликал, чтоб не только у Кешы, но и у всех у нас панок летел бы за заплот, в огород, в баню на полук, в печку на шесток и еще куда-то... За Микешкой бросались вдогон, чтоб еще суровой наказать, и мигом настигали злодея, потому как он кривоног, да и шубейка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом, путала ноги, убавляла резвости. Учинялся самосуд: бабки вытряхивались из-под завшивленной шубейки наземь, колдун получал добавку и запевал на всю улицу. На голос сына, сшибив с петли створку ворот, взбывая грязный, мокрый снег, в кожаных опорках, выскакивала Тришиха. Сама она била Микешку зверским боем, но стоило кому его тронуть, воспалялась истовой материнской любовью и защищала его так рьяно, ровно хотела искупить свою вину перед сыном, враз, и уж никакой меры не знало тогда ее сердце – Микешка под такой момент выманивал у матери деньги, сладости, хотелось – так и самогонки, да еще и куражился над родительницей, капризы строил. И ныне вот ткнулся в брюхо матери лицом, голосу прибавил. Тришиха, голопятая, с сигаркой в зубах, сердобольно утешая сына, гладила его по голове, просила о чем-то, а он вихлялся задом, лягался ногой и блял: «Не-е-е, пушшай бабки отдаду-ут! Не-е-е, пушшай не дражнютца! Не-е-е-э-э-э, играть хочу-у... Не-е-е-э-э, пушшай лучше мимо не ходят... не-е-е-эээ... не-е-э-э-э... не-е-е-э-э-э...»

Это Микешка распаляет мать, доводит ее до накала, подымает в ней смуту и нечистую жуткую силу. И поднял! Тришиха выплюнула сигарку, наступила на нее так, что опорок вдавился и остался в снегу, но, не замечая холода и мокроты, колдунья двигалась уже в одном опорке и, грозя кулаком, черной дырою рта изрыгала проклятья, пушила нас гнусаво, сулясь обучить Микешку такому наговору, что он всех нас обчистит или еще хуже устроит – напустит мор на скот, тогда бабок вовсе не будет, а если еще хоть раз Микешку тронут, хоть один-

разъединственный волос с его головы падет и ее выведут из терпенья, она на все село черную немочь накличет...

Страсти-то какие! Ребята и сражение прекратили, озираться начали, куда дерануть в случае чего. Поживи вот в таком селе! Поиграй в бабки! Попади в кон! Тришиха – она ботало, спяну чего не наметет. Но душе беспокойно, хочется Микешку вернуть, умаслить, задобрить Тришиху. Но у Тришихи нога замерзла, она вернулась за опорком, и более сил у нее, видать, не осталось на громоверженье, она увела своего сыночка в избушку, правда, до самого лаза вскидываясь и грозя кулаком, но все же ушла с глаз долой.

– У-ух! – выдохнули все разом. Отпустило! Кеша снова начал целиться, но уже нет в нем прежней уверенности, сбили его с линии. Целился, целился – я аж весь извелся – братан как-никак, хоть и двоюродный.

Хлобысь! Мимо!

– Заколновали дак... – дрожа губой, Кеша отходил в сторону, но никто уж его не слышал и не замечал. Новый паночек, легонький, без свинца, свалил две пары лохматых, неряшливых бабок. Санькины. Домнинский Гришка бил. Этот по зернышку клюет да сыт бывает! Он почти никогда не вышибал кона, даже среднего, но на чердаке у него корзина бабок. Накопит и продает по копейке пару.

Мне, как всегда в начале игры, привалил фарт. Кешиним панком я сшиб шесть передних пар подчистую, в седьмой паре рюшка стояла-стояла, взяла и тоже упала. Если в паре падает одна бабка, забираются обе. Отыграл я несколько Кешиных бабок, закатывался счастливо, возвращая их братану:

– Расколновали!

Но вскоре, опрокинув целиком кон, я вошел в азарт, впал в жадность, забыв мудрое правило: первому кону не верь, первому выигрышу не радуйся, перестал отдавать Кеше его бабки. За то он не давал мне больше бить своим панком. Я дерзко и опрометчиво послал его вместе с панком подальше, и со своим, мол, не пропаду, и своим уж вон сколько выбил народу из игры, подчистую вытряс Саньку. Да и чего вытрясать-то? У него и бабок-то велось четыре пары. Игроки, которые еще живы, осатанели, готовы перекусить меня пополам, некоторые подхалимничают, бабки подбирают и хранят, чтоб потом я уделил им пару-другую либо милостиво дал ударить по кону. А бабок, бабок у меня! Карманы трещат, под рубахой грохочет, будто на мельнице! Хоть и говорят, что в игре, как в бане, все равны, да все это ерунда на постном масле. Хитрован – домнинский Гришка, и тот, выиграв десяток бабок, домой подался, заявивши, что у них гости приехали, пироги пекли и велено ему быть дома.

Что мне Гришка?! Я братана своего не пощадил, ободрал как липку. Он стоит и глаза на меня лупит, не понимая, что произошло, как и когда это дорогой его братец – сиротинка горемычная – в этакую беспощадную зверину успел обратиться?

А мне все нипочем! Я в окошко кирпичом! И обедать не пойду! Коли биться до конца – без ужина дюжить стану, и пусть мне бабушка наподдает – до ночи рубиться буду, да хоть и до утра! Всех в прах поразнесу! Нет мне пределу! Круши гробовозов! У-ух, какой я человек!

Ставлю почти целый кон из одних панков. Где-то там, в конце кона, поредевший отряд игроков с содроганием в сердце лепил парочку-другую рюшек. Считай – дело безнадежное. У меня десяток ударов. Я хлещу, хлещу да загребая бабки. Меня посещает удаль, а вместе с нею небрежность, зазнайство – вечные спутники слепой удачи. И, не понимая еще, какая темная сила подкарауливает меня, хряпнул по кону почти наудалую, не целясь – и промазал. Кто-то из игроков снял кон – екая беда. Я их, этих конов, сколько могу выставить?! Не перечать!

Еще кон просвистел. Еще. Засосало повыше брюха, шевельнулась тревога в груди: в первый и последний раз посетила горячую мою голову мысль: отколоться от игры. уйти, ибо опять же есть заповедь: люби – не влюбляйся, пей – не напивайся, играй – не отыгрывайся. Да где там?! Занесло игрока, заело: что я, домнинский крохобор? Пеночник? Трус? Умру, но отыгра-

юсь! Отчаяние, злость слепят человека, трясут, лихорадят руки, даже глаз дергается. Изредка я еще попадал в кон, отыгрывал пяток-другой бабок, но раздражение уже делало свое дело – все неуверенней рука, все легче у меня в карманах. Я начал ругаться, спорить, толкнул кого-то из малых, будто он мешал бить, будто бы шептал мне под руку. Малый оказался из задиристого верехтинского рода, и Илюха Сохатый, мой одноклассник, крупный, носатый парень, заступаясь за племянника, посулился созвать старшего брата Ваньку и дать мне «пару».

– Мне? Пару? Да я!..

Р-раз! Мимо! Панка своего на кон. Совсем это распоследнее дело. К своей бите почти-тельность должна быть. Продуйся дотла, но главный «струмент» береги! Проиграть его – все равно что последнюю рубаху с тела пропить...

Протетерил и панка. Хоть кулаком бей. Да и ставить на кон, кроме души, нечего. Поставил бы, да не берут – цены душа никакой не имеет. Бросился к Кеше, просить займы бабок, десять штук. Шесть! Хоть пару!

– Не нам! – уперся Кеша. – Ини домой, весь вон трясется, ишшо ронимец хватит...

– Ы-ых, рас... – Я назвал Кешу распаскудным словом. – Погоди, погоди, попросишь чего-нибудь...

По правде сказать, ничего он у меня не попросит, и давать ему мне ничего не приходилось, потому как живет он при родителях и все у него есть. Но сколько раз вступался я за брата, когда его били или пытались бить. Шишек сколь из-за него напичкал! Дрова пилить помогал, на сплавно пикете ночами с ним дежурил, чтоб одному ему не страшно было; снег во дворе разгребал, назем из стайки вычищал. Сегодня вот, сейчас, сколько я ему бабок отыграл!.. пока не раздухарился, пока в горячку не вошел?

– Чехотошная ты харя! – плюнул я в ноги братану и, поверженный, поплелся от коня в сторону. Стоял на земле, холодной, сырой, неприятной, легкий, опростанный, будто сердце из меня вынули и вместе с ним все остальное, что было в середине. Хотелось зареветь или подраться. Я уж помаленьку натириваться стал на ребятню, но Санька левонтьевский, не умеющий помнить зла, Санька, которого я выбил из игры, всегда ревниво относившийся к нашим с Кешей отношениям, чутко в них улавливал разлад, прислонился ко мне, сыро выдохнул в ухо:

– Идем на расхватуху!

Расхватуха – считай что грабеж среди бела дня. Люди ведут честную игру, ставят бабки на кон, старательно бьют, переживают, изнашивают сердца, все идет хоть и в горячке, в спорах, порой с потасовками, но удача зависит от меткости, умения, сноровки – за каждый промах выставляй пару бабок – кон иной раз солдатской колонной марширует от стены до дороги, перехлестывает ее, выпрыгивает на бугорок, шатнется по склону, отодвинет место, с которого били, притиснет биточков к огородам. Случалось, едет мужик на телеге и, если мужик он путевый, не шарпачня, никогда коня не переедет, обогнет его, лошадь в прошлогонную дурнину загонит, изматерится весь, но – таков древний закон – игры не нарушит. Часто случалось: натянет вожжи, коня остановит, глазеть начнет, а там и в игру встрянет, советом пособляет, показывать возьмется, какие он в ранешнее время кони вышибал! – увлечется, забудет, куда и ехал. Застигнутый в игре женой либо тещей, спохватится мужик, утрит фуражкой пот со лба, нахлобучит ее на глаза и, ругнувшись безо всякого зла, погонит лошадь за речку, все оглядываясь, все вытягивая шею, все еще пребывая неостывшим сердцем в игре и в той счастливой поре, которую возможно достать близкой памятью, ведь не запекло еще и выбоины, сделанные его битой на платоновском заплоте.

До ста и до двухсот штук случалось в кону бабок! Волосы дыбом – во какая игра! И вот жук какой-нибудь, вроде Саньки, дождавшись несогласия среди игроков, шумной перебранки, вдруг бросал разбойный клич:

– Хвата-а-а-аай! – и валился брюхом на кон.

Часто налетчика схватывали и били в кровь, но еще чаще продувшийся народ подхватывала жажда хапнуть чужое, получалась куча мала, раздавались вопли: «Я те дам! Я те дам! А-пусти-и-и-и-и-и-и!», «Не тронь!», «Зубы выбью!..» – Парнишки кусались, царапались, били по зубам, по рукам, пинком в живот, в пах. Под шумок, не то сама собой, не то чьей-то вражеской рукой выдергивалась из-под штанов рубаха богатого человека – по земле широко раскатывались бабки. Хозяин рушился, сгребая под себя свое добро, защищая его горячим телом. Но верткие бабки выкатывались, сыпались, и кто поспоровистей и ловчей из ребят чесал уже по заулкам, нервно похохатывая, иной пакостник еще и дразнился, травил честной народ, показывая захапанные бабки.

«Погоди! Погоди, падина! – кричали вслед ему. – Припомним мы тебе!..»

Деревенская жизнь вся на виду, никуда не скроешься. И когда шарапники являлись с захапанными бабками, их не принимали в игру, всячески поносили. Отторгнутые от честной игры, налетчики организовывали свой кон, но там уж добра не жди – рвачи играли рвачески, брали не мастерством, нахрапом больше. Кто-нибудь из совестливых малых, захваченный волной разбоя, минутой слепой стихии, долго такой жизни и бесчестия не выдерживал, приносил бабки к «чистому» кону, покаянно их вытряхивал.

– Вот... – маялся, переступая с ноги на ногу. – Все до единой...

Ему ни слова, ни взгляда.

– Хоть пересчитайте!..

Тяжела, сурова мужицкая справедливость – наказав мошенника презрением, усовестив словами, порой и до слезы доводя, со скрипом и недовольством стойкие игроки наконец-то разрешали:

– Ладно, ставь! Но штабы...

И не было счастливей и честней тогда человека, чем недавний шарапник. Перед всем миром виноватый, он всячески выслуживался, истово следил за порядком и справедливостью в игре, с особой бдительностью за мелким ворьем, которое пяткой откатывало выбитую бабку либо, меж пальцев ее зажимая, отхрамывало в сторону, якобы занозу вынуть из подошвы. В запал сражения вошедший боец не всегда и заметит, что его обирают, на ходу, можно сказать, подметки рвут...

Один раз Санька-злодей забрал в расхватухе почти все Кешины бабки, и тот с ревом явился к нам – игра шла на нижнем конце села. Бабушка, сострадая ограбленному внуку, сыскала где-то пяток заросших пылью рюшек, и мы их катали на деревянном настиле двора, ведя скучный и невзправдашный счет выигранным бабкам. Зазвенела щеколда, растворились ворота. Почесываясь, кособочась, жуя ком серы, в наш двор протиснулся ухмыляющийся Санька.

Мы с братаном его не замечали. Наблюдая за нашей вялой игрой, Санька презрительно цыркал слюной, норовя попасть в рюшек. Мы не удостаивали вниманием разбойника, а это для Саньки острее ножа. Он ожег нас красными глазами, тряхнул рубахой – под нею зазвякали бабки.

– Сыграм?

– На воровано не льстимся. Чеши отседова!

– Чё-о?

– Чеши, чеши по гладенькой дорожке на одной ножке!..

Кеша – откуда что взялось! – еще складнее добавил:

– На легком катере к енреной матери!..

Назревала драка. Союзно с братаном мы навтыкали бы Саньке, потому что накалились, нас испепеляла злость, придавая сил. Но задраться не успели, в окно выглянула бабушка и навалилась на Саньку:

– Эт-то что жа ты, каторжанец, делаеш? Чем же ты промышляеш? – и сокрушенно качала головой: – Не-ет, не будет из тебя пути! Ежели ты с эких пор людей обираеш, на чужо зарисься, шлепать тебе сибирским етапом, вшиветь по тюрьмам да по острогам...

Натиска бабушки Санька долго не выдерживал, он еще почесался, поухмылялся, ужимочки построил, но потом понуро опустил голову, зачертил по настилу, острым, что лезвие топора, ногтем. Кеша, чувствовал я, собирается пособить бабушке, вот-вот скажет: «Чё своим копытом царапаш наши носки?» Я собрался накричать на Кешу и на Саньку, чтобы победить занимающуюся жалость, но Санька выдернул рубаху из-под штанов – посыпались бабки, запрыгали по настилу. Одну рюху Санька поддел ногой так, что она под навес укатилась. Засвистевши, завихлявшись, отправился налетчик со двора, возле ворот остановился – посмотреть, как мы с Кешей бросимся собирать бабки, – мы не бросились.

– Я ить понарошке, – сказал он.

И вот этот самый Санька, понарошке, видите ли, грабивший игроков, самый верткий в расхватухе и во всех темных делах, сманивал меня на лихой налет, заставляя отринуть бабушкин наказ: «Где наглость и похабство, там подлость и рабство». Хоть и с большим трудом, я подавил в себе нечистые устремления, пополам, можно сказать, себя переломил:

– Обчистили! – всплеснула руками бабушка, когда я приплелся домой. – Экой просто-дырай! – принялась она меня корить. – Я зиму-зимскую копила бабки, он их враз профукал!.. Ты бы не во всякой кон ставил. Где выгодней – смекал бы... Ладно, – утешала меня бабушка, – проиграл – не украл, хорошо, сам цел остался...

Тем же годом видел я большую игру в бабки. Играли на гумне взрослые парни, казавшиеся мне тогда мужиками. Гумно было по-весеннему пустое, просторное, лед под толстой соломенной крышей гумна еще «не отпустило», он был гладок, с прозеленью. Кон бабок ершился в дальнем от ворот конце гумна, возле поперечной стены. Стоял он не как у нас – зеленых игроков, попарно, солдатиками. Здесь бабки цепь за цепью шли в наступленье поперечным строем. В передних цепях реденько тащились прогонистые солдатики – рюшки, за ними, строем поплотней – солдатики попережку с унтерами, задний кон – по-боевому сплочен – в нем плечо к плечу маршировали отборные гренадеры-панки, что ни панок, то и боец, за одного, не дрогнув, десяток рюх выложишь!

Парни били по конам каменными плитками, отысканными на берегу Енисея. У нас от века так было: лед еще стоит, на огородах и в лесу снег серыми тушами лежит, но по берегам уж камешник вытаял, обсох, играет чистой гладью на радугой выгнутом мысу реки – выбирай плитку какого хочешь цвета. Есть у игроков и свинцовые биты, но их всего две-три штуки на деревню, и оттого редко пускают их в дело.

Был праздник Благовещенья или конец Пасхи – не помню. Деревня гуляла, пела и развлеклась на воле. В гумно наперло мужичья, ребятишек оттеснили, приплюснули к стенам – ничего не видать. Парнишки, как чивили, расселись по балкам, под самой крышей – сверху еще лучше видно.

Какая шла игра! Без жульничества, без споров, ора, гама и потасовок. Бабки принесены не под рубахами, не в дырявых карманах, а в мешочках, корзинках, старых пестерях и туесах. Бабки все бывалые, темные и седые от старости, сплошь в царапинах и увечьях, полученных в сражениях, но крепкие, потому что слабая бабка давно разбита, у слабой бабки век короток.

Били парни, как и мы, по-разному, соответственно характеру и уменью. Вот встал на одно колено парень в нарядной, черными нитками вышитой, бордовой рубахе, сидоровский Федор. У меня и сердце остановилось, хороший потому что парень, так просто мимо не пройдет, всегда по шапке потреплет, шутовское отмочит: «Ну, чё, жук навознай? Залез в амбар колхознай! Точишь точилку об зерно, манишь девок на гумно!» Правду сказать, я еще никого на гумно

не манил, еще только собирался, но сердце все равно встрепенется в груди, отзываясь на неуклюжую мужскую ласку.

Федор ударил накатом, и поначалу гладкая, красноватая плитка в белых прожилках катилась в середину кона, однако на пути ее подшибло зернышком, плитка дернулась, пошла вкось и ударила по левому краю заднего, самого широкого кона. Дружок мой, Ленка сидоровский, облегченно выдохнул, и я тоже выдохнул – мы не дышали, пока Федор целился. Ладно, хоть попал Федор, пусть и неважнецки, да попал. Многие мажут. И кон широк, и плитки по льду ходовито катятся, да бьют-то чуть не за версту. Нам, парнишкам, в такую даль и не добросить плитку, да и в подпитии игроки, глаз неверен, горячатся лишка, иные кураж на себя нагоняют, а кураж тут ни к чему. Женись сперва, заведи жену и куражься над ней сколь влезет, игра – штука серьезная, обчистят и плакать не велят...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.